

Frank, S. L.

ПРАВДА И СВОБОДА

Первая серия: Вопросы истории и культуры. № 1

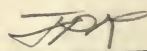
С. Л. ФРАНКЪ

ПУШКИНЪ

КАКЪ ПОЛИТИЧЕСКІЙ МЫСЛИТЕЛЬ

Съ предисловіемъ и дополненіями

П. Б. СТРУВЕ


БЪЛГРАДЪ
1 9 3 7

PG3358

P6F7

КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ АВТОРА

Семень Людвиговичъ Франкъ родился въ 1877 г. въ Нижнемъ Новгородѣ. Среднее образование получилъ въ Нижегородской классической гимназiи, высшее — въ Московскомъ Университетѣ (по юридическому факультету).

Первой научной работой была книга „Теорiя цѣнности Маркса. Критическiй этюдъ“ (СПБ 1900), оригинальная критика экономического ученiя Маркса. Первой чисто философской работой — статья „Ницше и этика любви къ дальнему“ въ извѣстномъ сборникѣ „Проблемы идеализма“ (1902). Въ 1906-1917 гг. былъ преподавателемъ въ рядѣ высшихъ учебныхъ заведенiй С.-Петербурга; съ 1912 г., по выдержанiи магистерскаго экзамена, сталъ приватъ-доцентомъ С.-Петербургскаго Университета по кафедрѣ философи. Участникъ сборника „Вѣхи“ (1909 г. — статья „Этика нигилизма“). Членъ редакцiи журналовъ „Полярная Звѣзда“ (1905-06) и „Русская Мысль“ (1906-1917). Основной философскiй трудъ (диссертация на степень магистра философи): „Предметъ знанiя. Объ основахъ и предѣлахъ отвлеченнаго знанiя“. СПБ. 1915. (стр. XII + 504). Докторская диссертация „Душа человѣка“. Введенiе въ философскую психологию“ (1917), уже назначенная къ защитѣ въ Казани, не могла быть защищена изъ-за гражданской войны. Съ 1917 по 1921 г. — ординарный профессоръ философи и деканъ организованнаго еще до революцiи историко-филологическаго факультета Саратовскаго Университета; 1921-22 гг. — профессоръ Московскаго Университета. Въ 1922 г. высланъ изъ Совѣтской Россiи, съ 1923 г. — профессоръ Русскаго Научнаго Института въ Берлинѣ, 1931-32 гг. (последнiе два года существованiя этого Института) — его директоръ.

Главнѣйшiе другiе печатные труды: сборники статей „Философи и жизнь“ (1910) и „Живое знанiе“ (1923), книги: „Введенiе въ философию“ (1922), „Методологiя общественныхъ наукъ“ (1922), „О смыслѣ жизни“ (1926). „Духовныя основы общества“ (1930), „Die russische Weltanschauung“ (Берлинъ 1925).

Всѣ права сохранены за авторами.
Tous droits réservés.

Русская Типографiя С. ФИЛОНОВА
НОВЫЙ САДЪ
Югославiя

ПРЕДИСЛОВIЕ

Политическiе взгляды Пушкина такъ же, какъ вся его духовная жизнь, испытали глубокiя и знаменательныя измѣненiя, и очеркъ С. Л. Франка сжато, но чрезвычайно выпукло и въ то же время проникновенно изображаетъ въ этой области и духовное созрѣванiе, и умственную зрѣлость великаго поэта, этого, по мѣткой характеристикѣ Николая I, умнѣйшаго человѣка въ Россiи¹⁾.

Пушкинъ вообще очень рано созрѣлъ, и его политическая зрѣлость тоже наступила очень рано. Въ этомъ отношенiи весьма поучительно сопоставленiе Пушкина съ кн. П. А. Вяземскимъ (1792-1878), который однако по духовному содержанию въ своей долгой жизни все болѣе и все тѣснѣе сближался съ зрѣлымъ Пушкинымъ и потому изъ всѣхъ современниковъ и друзей Пушкина, въ концѣ концовъ, всего лучше схватилъ его духъ. Вяземскiй первый и охарактеризовалъ Пушкина какъ либеральнаго консерватора, въ то же время ясно понимая,

¹⁾ Надлежитъ отмѣтить, что это изображенiе политической „эволюцiи“ Пушкина въ основѣ согласно дается всѣми добросовѣстными изслѣдователями его духовной жизни, на какой бы точкѣ зрѣнiя они сами ни стояли. Въ этомъ отношенiи слѣдуетъ внести поправку въ изложенiе С. Л. Франка. Даже такой элементарный радикаль, какъ покойный В. В. Водовозовъ, весьма объективно изобразилъ въ специальномъ очеркѣ (въ Венгерскомъ изданiи) идейную эволюцiю и основные взгляды Пушкина въ области политики.

что свободную и многообъемлющую *поэтическую* личность Пушкина нельзя втискивать ни въ какія отвлеченныя формулы¹⁾. Но пониманіе этого вовсе не мѣшало Вяземскому и не мѣшаетъ намъ отчетливо видѣть, что у зрѣлаго Пушкина была ясная и трезвая, твердая и точная политическая мысль.

Пушкинъ непосредственно любилъ и цѣнилъ начало *свободы*. И въ этомъ смыслѣ онъ былъ *либераломъ*.

Но Пушкинъ такъ же непосредственно ощущалъ, любилъ и цѣнилъ начало *власти* и его національно-русское воплощеніе, принципиально основанное на законѣ, принципиально стоящее надъ сословіями, классами и національностями, укорененное въ вѣковыхъ преданіяхъ, или традиціяхъ народа *Государство Россійское*, въ его исторической формѣ — свободно принятой народомъ наслѣдственной *монархіи*. И въ этомъ смыслѣ Пушкинъ былъ *консерваторомъ*.

Я позволю себѣ указать, что авторъ на стр. 25 выражается неточно, говоря, что „Пушкинъ пришелъ къ убѣжденію“, что въ Николаѣ I было „много отъ прапорщика и немного отъ Петра Великаго“. Приписываетъ этотъ афоризмъ самому Пушкину Щеголевъ, но изъ текста пушкинскаго „Дневника“ это вовсе не вытекаетъ. Тамъ просто сказано:

„Въ Александрѣ было много дѣтскаго. Онъ писалъ

¹⁾ „...Пушкинъ былъ всегда дитя вдохновенія, дитя мимолетущей минуты. И оттого всѣ созданія его такъ живы и убѣдительны. Это — Эолова арфа, которая трепетала подъ налетомъ всѣхъ четырехъ вѣтровъ съ неба и отзывалась на нихъ пѣснью. Разсѣкать эти пѣсни и анатомировать ихъ — и вообще созданія всякаго поэта — и искать въ нихъ организованную систему... значитъ не понимать Пушкина въ особенности, ни вообще поэта и поэзіи“. Старая Записная Книжка 1853-1878 г. г. (Запись 19 ноября 1859 г. Собраніе Сочиненій кн. П. А. Вяземскаго, т. X. СПб 1886. стр. 228 - 229).

однажды Лагарпу, что давъ свободу и конституцію землѣ своей, онъ отречется отъ трона и удалится въ Америку. Пол(етика) сказалъ: „L'Emp(ereur) Nicolas est plus positif; il a des idées fausses comme son frère, mais il est moins visionnaire. Кто-то сказалъ о Гос(ударѣ): Il y a beaucoup du Praporchique en lui, et un peu du Pierre le Grand“¹⁾.

Даже если бы этотъ афоризмъ, вѣроятно, принадлежалъ или тому же П. И. Полетикѣ или С. А. Соболевскому или даже кн. П. А. Вяземскому, принадлежалъ самому Пушкину, все-таки въ немъ выражено нѣчто, чего нельзя характеризовать какъ „убѣжденіе“ Пушкина. Не всякое bon mot достойно наименованія убѣжденія.

Отношеніе Пушкина къ Николаю I не могло не быть, съ одной стороны, весьма сложнымъ, а, съ другой, весьма простымъ. Между великимъ поэтомъ и Царемъ было огромное разстояніе въ смыслѣ образованности и культуры вообще: Пушкинъ именно въ эту эпоху былъ уже человѣкомъ большой, самостоятельно приобрѣтенной, *умственной* культуры, чѣмъ Николай I никогда не былъ. Съ другой стороны, какъ человѣкъ огромной *дѣйственной воли*, Николай I превосходилъ Пушкина въ другихъ отношеніяхъ: ему присуща была необычайная самодисциплина и глубочайшее чувство долга. Свои обязанности и задачи Монарха онъ не только понималъ, но и переживалъ какъ подлинное *служеніе*. Во многомъ Николай I и Пушкинъ, какъ конкретныя и эмпирическія индивидуальности, другъ друга не могли понять и не понимали.

¹⁾ Дневникъ Пушкина. 1835-1855. Подъ редакціей и съ объяснительными примѣчаніями Б. Л. Модзалевскаго и со статьею П. Е. Щеголева. М.-П. 1923. стр. 18. Въ отличіе отъ добросовѣстныхъ и точныхъ справокъ Модзалевскаго, статья Щеголева написана въ стилѣ домысловъ и заподозриваній, направленныхъ противъ политически ненавистнаго „царизма“ — Пушкинъ съ негодованіемъ отвергъ бы самое это слово, придуманное иностранцами, врагами Россіи.

Но въ то же время они другъ друга какъ люди, по всѣмъ достовѣрнымъ признакамъ и свидѣтельствамъ, любили и еще болѣе — цѣнили. Для этого было много оснований. Николай I непосредственно ощущалъ величіе пушкинскаго генія. Не надо забывать, что Николай I, по собственному, сознательно принятому рѣшенію, приобщилъ на равныхъ правахъ съ другими образованными русскими людьми политически подозрительнаго, поднадзорнаго и въ силу того поставленнаго его предшественникомъ въ исключительно неблагоприятныя условія Пушкина къ русской культурной жизни и даже, какъ казалось самому Государю, поставилъ въ ней поэта въ исключительно привилегированное положеніе. Тягостныя стороны этой привилегированности были весьма ощутимы для Пушкина, но для Государя прямо непонятны. Что поэта бѣсили нравы и приемы полиціи, считавшей своимъ правомъ и своей обязанностью во все вторгаться, было болѣе чѣмъ естественно — этими вещами не меньше страстнаго и подчасъ черезчуръ несдержаннаго въ личныхъ и общественныхъ отношеніяхъ Пушкина возмущался кроткій и тихій Жуковскій. Но отъ этого возмущенія до отрицательной оцѣнки фигуры самого Николая I было весьма далеко. Поэтъ хорошо зналъ, что Николай I былъ — со своей точки зрѣнія самодержавнаго, т. е. неограниченнаго, монарха — до мозга костей проникнутъ сознаниемъ не только *права* и силы патріархальной монархической власти, но и ея *обязанностей*. Для Пушкина Николай I былъ настоящій властелинъ, какимъ онъ себя показалъ въ 1831 г. на Сѣнной площади, заставивъ силой своего слова взбунтовавшійся по случаю холеры народъ пасть передъ собой на колѣни (ср. письмо Пушкина къ Осиповой отъ 29 іюня 1831 г.). Для автора знаменитыхъ „Стансовъ“ Николай I былъ Царь „суровый и могучій“ („19 октября 1836 г.“). И свое отношеніе

къ Пушкину Николай I также рассматривалъ подъ этимъ угломъ зрѣнія. Намъ чужда — и уже Пушкину тоже въ значительной мѣрѣ была чужда — политическая идеологія Николая I, но, несмотря на это, его отношеніе къ Пушкину мы не можемъ не признавать человѣчески добросовѣстнымъ и идейно серьезнымъ. Николай I къ доступному ему духовному міру поэта и къ его душевнымъ переживаніямъ относился — со своей точки зрѣнія — *внимательно и даже любовно*.

Клеветнически-дурацкимъ инсинуаціямъ объ отношеніи Николая I къ Пушкину необходимо противопоставить это единственное соотвѣтствующее исторической дѣйствительности и исторической справедливости пониманіе ихъ отношеній. Когда Булгаринъ въ 1830 г. въ мало прикровенномъ видѣ напечаталъ въ „Сѣверной Пчелѣ“ намеки на происхожденіе Пушкина отъ негра, купленнаго шкиперомъ за бутылку рома, Пушкинъ въ отвѣтъ разразился „Моей родословной“, ходившей въ рукописяхъ. Въ 1833 г. поэтъ счелъ нужнымъ довести это стихотвореніе до свѣдѣнія гр. А. Х. Бенкендорфа и чрезъ него — самого Царя. Царь на письмѣ (французскомъ) Пушкина къ Бенкендорфу написалъ по-французски же нѣсколько словъ, которыми онъ заклеилъ сдѣланные врагомъ Пушкина намеки, какъ „низкія и подлыя оскорбленія“, которыя „обезчещиваютъ не того, къ кому они относятся, а того, кто ихъ произноситъ“. Эта отмѣтка Царя была доведена до свѣдѣнія поэта и, конечно, доставила ему душевное удовлетвореніе. Въ 1832 г. поэтъ получилъ какъ *личный подарокъ* Николаю I „Полное Собраніе Законовъ Россійской Имперіи“ (съ 1649 по 1825 г.), изданное подъ руководствомъ Сперанскаго основное собраніе важнѣйшихъ источниковъ по исторіи Россіи съ Уложенія Царя Александра I. Можно было бы привести еще длинный рядъ случаевъ

не только покровительства, но прямо проявленія любовнаго вниманія Николая I къ Пушкину.

Словомъ всѣ факты говорятъ о томъ взаимоотношеніи этихъ двухъ большихъ людей, наложившихъ каждый свою печать на цѣлую эпоху, которое я изобразилъ выше. Вокругъ этого взаимоотношенія — подъ диктовку политической тенденціи и неискоренимой человѣческой страсти къ злорѣчивымъ измышленіямъ — сплелось цѣлое кружево глупыхъ вымысловъ, низкихъ заподозриваній, мерзкихъ домисловъ и гнусныхъ клеветъ. Строй политическихъ идей даже зрѣлаго Пушкина былъ во многомъ не похожъ на политическое міровоззрѣніе Николая I, но тѣмъ значительнѣе выступаетъ непрерываемая взаимная личная связь между ними, основанная одинаково и на ихъ человѣческихъ чувствахъ, и на ихъ государственномъ смыслѣ. Они оба любили Россію и цѣнили ея историческій образъ.

Въ заключеніе¹⁾ этого вступительнаго слова, чѣмъ же дорогъ, чѣмъ учителенъ и водителенъ для нашего времени Пушкинъ — въ томъ его окончательномъ и окончательно зрѣломъ образѣ, который онъ завѣщалъ Россіи и русскому народу?

Пушкинъ не отрицался національной силы и государственной мощи. Онъ, ее, наоборотъ, любилъ и воспѣвалъ. Не даромъ онъ былъ пѣвцомъ Петра Великаго.

И въ то же время Пушкинъ, этотъ ясный и трезвый умъ, этотъ могучій выразитель и твердый цѣнитель зем-

¹⁾ Нижеслѣдующая характеристика, почти цѣликомъ соотвѣтствующая тому, что было написано и напечатано мною около 10 лѣтъ назадъ въ „Возрожденіи“, легла въ основу произнесенной мною въ Бѣлградѣ 10-го февраля с. г. рѣчи о Пушкинѣ и будетъ въ развернутомъ видѣ вмѣстѣ съ „матеріалами для толковаго словаря пушкинскаго слова“ опубликована въ подготовляемомъ къ печати бѣлградскомъ пушкинскомъ сборникѣ.

ной силы и человѣческой мощи, почтительно и смиренно склонялся передъ неизъяснимой тайной Божьей, превышающей все земное и человѣческое. Но этотъ своеобразный мистицизмъ Пушкина былъ стыдливымъ: его религіозности было чуждо все показное и крикливое, все назойливое и чрезмѣрное. И о дѣлахъ міра сего Пушкинъ зналъ, что всякая земная сила, всякая человѣческая мощь сильна мѣрой и въ мѣру собственнаго самоограниченія и самообузданія. Ему въ земныхъ дѣлахъ и оцѣнкахъ была чужда разслабленная, нездоровая чувствительность, и вмѣстѣ съ тѣмъ ему прямо претила пьяная чрезмѣрность, тотъ прославленный въ настоящее время „максимализмъ“, который рождается въ угарѣ и изсякаетъ въ похмѣльѣ...

Пушкинъ почиталъ преданіе и любилъ „генеалогію“. Глядя „впередъ безъ боязни“, твердо и смѣло прозирая въ будущее, онъ спокойно и любовно озиралъ прошлое и въ него погружался.

Вотъ почему Пушкинъ — первый и главный учитель для нашего времени, того труднаго историческаго перелома, на которомъ одни сами еще болѣны угаромъ и чрезмѣрностью, а другіе являются жертвами и попутчиками чужого пьянства и похмѣлья. Конечно, въ размышленіяхъ и образахъ Пушкина мы должны искать не рецептовъ, а идей.

Эпоха русскаго возрожденія, духовнаго, социальнаго и государственнаго, должна начаться подъ знакомъ Силы и Ясности, Мѣры и Мѣрности, подъ знакомъ Петра Великаго, просвѣтленнаго художническимъ гениемъ его великаго пѣвца, Пушкина.

Въ видѣ приложеній къ очерку С. Л. Франка производится (съ нѣкоторыми сокращеніями) мой этюдъ о кн. П. А. Вяземскомъ и А. Д. Градовскомъ, какъ представителей либеральнаго консерватизма, напечатанный

въ свое время въ парижскомъ (единственномъ) выпускѣ зарубежной „Русской Мысли“ за 1927 г., и приводится съ нѣкоторыми моими разъясненіями данная кн. Вяземскимъ характеристика Пушкина, какъ либеральнаго консерватора.

ПЕТРЪ СТРУВЕ

Бѣлградъ,
январь - февраль 1937 г.

ПУШКИНЪ КАКЪ ПОЛИТИЧЕСКІЙ МЫСЛИТЕЛЬ

Пушкинъ, какъ всякій истинный геній, живетъ въ вѣкахъ. Онъ не умираетъ, а, напротивъ, не только вообще продолжаетъ жить въ національной памяти, но именно въ смѣны эпохъ воскресаетъ къ новой жизни. Каждая эпоха видитъ и цѣнитъ въ немъ то, что ей доступно и нужно, и потому новая эпоха можетъ открыть въ его духовномъ образѣ то, что оставалось недоступнымъ прежнимъ.

Это положеніе, имѣющее силу въ отношеніи геніевъ вообще, въ особой мѣрѣ приложимо къ Пушкину. Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что Пушкинъ, не только какъ поэтъ, но и какъ духовная личность, далеко опередилъ русское національное сознание. По мѣткому выраженію Гоголя, онъ явилъ въ себѣ духовный типъ русскаго человека, какимъ послѣдній осуществится, можетъ быть, черезъ 200 лѣтъ. Теперь намъ совершенно очевидно, что Пушкинъ, съ первыхъ же шаговъ своего творчества пріобрѣтшій славу перваго, несравненнаго, величайшаго русскаго поэта (приговоръ Жуковскаго, предоставившаго ему въ 1824 году „первое мѣсто на русскомъ Парнассѣ“¹⁾, никѣмъ не былъ оспоренъ и остается въ силѣ до появленія новаго Пушкина), оставался въ теченіе всего XIX - го вѣка недооцѣненнымъ въ русскомъ общественномъ сознаніи. Онъ оказалъ, правда, огромное вліяніе на русскую литературу, но не оказалъ почти никакого вліянія на исторію русской мысли, русской духовной культуры. Въ XIX-омъ вѣкѣ и, въ общемъ, до нашихъ дней русская мысль, русская духовная культура

¹⁾ Переписка Пушкина, изд. Академіи Наукъ, т. I, стр. 148 (гдѣ въ дальнѣйшемъ отмѣчается томъ и страница, имѣется въ виду это изданіе „Переписки“).

шли по инымъ, не - пушкинскимъ путямъ. Писаревское отрицаніе Пушкина — не *какъ поэта*, а *вмѣстѣ* со всякой истинной поэзіей, слѣдовательно, отрицаніе пушкинскаго духовнаго типа — было лишь самымъ яркимъ, непосредственно бросавшимся въ глаза, эпизодомъ гораздо болѣе распространеннаго, типичнаго для всего русскаго умонастроенія второй половины XIX-го вѣка отрицательнаго, пренебрежительнаго или равнодушнаго отношенія къ духовному облику Пушкинскаго генія. Въ другихъ, недавно опубликованныхъ нами работахъ о Пушкинѣ¹⁾, намъ приходилось уже настойчиво возобновлять призывы Мережковскаго („Вѣчные спутники“ 1897) и Гершензона („Мудрость Пушкина“ 1919) — вникнуть въ доселѣ непонятое и недооцѣненное духовное содержаніе пушкинскаго творчества. Задача заключается въ томъ, чтобы перестать, наконецъ, смотрѣть на Пушкина, какъ на „чистаго“ поэта въ банальномъ смыслѣ этого слова, т. е. какъ на поэта, чарующаго насъ „сладкими звуками“ и прекрасными образами, но не говорящаго намъ ничего духовно особенно значительнаго и цѣннаго, и научиться усматривать и въ самой поэзіи Пушкина, и за ея предѣлами (въ прозаическихъ работахъ и наброскахъ Пушкина, въ его письмахъ и достоверно дошедшихъ до насъ устныхъ высказываніяхъ) таящееся въ нихъ огромное, оригинальное и неоцѣненное, *духовное содержаніе*.

Въ предлагаемомъ краткомъ этюдѣ мы хотѣли бы обратить вниманіе читателя на *политическое міровоззрѣніе* Пушкина, на его значеніе, какъ политическаго мыслителя. Эта тема, — по крайней мѣрѣ въ синтетической формѣ, — кажется, почти еще не ставилась въ литературѣ о Пушкинѣ²⁾. Тщетно также стали бы мы

¹⁾ Религіозность Пушкина. „Путь“ № 30 (Парижъ, YMCA-Press). Puškins geistige Welt. Jahrbücher für Gesch. u. Kultur der Slaven. Bd. IX. H. I/II. 1933.

²⁾ Единственная извѣстная намъ работа такого рода есть старая статья перваго пушкиновѣда и редактора перваго посмертнаго изданія сочиненій Пушкина П. В. Анненкова: „Общественные идеалы Пушкина“ (Вѣстникъ Европы 1888, т. III), гдѣ впервые опубликованы нѣкоторые матеріалы, вошедшіе теперь въ собранія сочиненій Пушкина. Работа эта — для своего времени въ высшей степени цѣнная — теперь, конечно, устарѣла.

искать главы о Пушкинѣ въ многочисленныхъ „исторіяхъ русской мысли“, которыя, какъ извѣстно, въ значительной мѣрѣ были исторіями русскихъ политическихъ идей. Исторія русской мысли, съ интересомъ и вниманіемъ изслѣдовавшая и самая узкая и грубая, и самая фантастическія общественно-этическія построенія русскихъ умовъ, молча проходила мимо Пушкина. Кромѣ упомянутаго выше общаго пренебреженія къ духовному содержанію пушкинскаго творчества, этому содѣйствовало, конечно, и то, что вплоть до революціи 1917 года русская политическая мысль шла путями совершенно иными, чѣмъ политическая мысль Пушкина. Когда же приходилось поневолѣ вспоминать о Пушкинѣ — пишушему эти строки памятна изъ дней его юности юбилейная литература 1899 года — то, изъ нежеланія честно сознаться въ этомъ расхожденіи и имѣть противъ себя авторитетъ великаго національнаго поэта, оставалось лишь либо тенденціозно исказить общественное міровоззрѣніе Пушкина, либо же ограничиваться общими ссылками на „вольнлюбіе“ поэта и политическія преслѣдованія, которымъ онъ подвергался, а также на „гуманный духъ“ его поэзіи, на „чувства добрыя“, которыя онъ, по собственному признанію, „пробуждалъ“ своей „лирой“.

Можно надѣяться, что та огромная, неисчислимая въ своихъ послѣдствіяхъ, встряска, которую русское независимое общественное сознаніе испытало въ катастрофѣ, тянувшейся съ 1917 года до нашихъ дней, будетъ благотворна и для пересмотра обычнаго отношенія къ политическому міровоззрѣнію Пушкина. Дѣло идетъ, конечно, не о томъ, чтобы на новый ладъ искать въ авторитетѣ Пушкина санкции для новыхъ, возникшихъ послѣ 1917 года, русскихъ политическихъ исканій и стремленій. Хотя Пушкинъ въ нѣкоторыхъ основныхъ духовныхъ своихъ мотивахъ и въ этой области можетъ и долженъ быть и теперь нашимъ учителемъ, но, само собой разумѣется, что даже величайшій и самый прозорливый геній не можетъ быть руководителемъ въ конкретныхъ политическихъ вопросахъ для эпохи, отдѣленной отъ его смерти цѣлымъ столѣтіемъ — и какимъ столѣтіемъ! Дѣло идетъ лишь о томъ, чтобы научиться

наконецъ добросовѣстно и духовно свободно понимать и оцѣнивать политическое міровоззрѣніе Пушкина, вникая въ него *sine ira et studio* какъ въ изумительное историческое явленіе русской мысли. Каково бы ни было политическое міровоззрѣніе каждаго изъ насъ, пiететъ къ Пушкину во всякомъ случаѣ требуетъ отъ насъ безпристрастнаго вниманія и къ его политическимъ идеямъ, хотя бы въ порядкѣ чисто историческаго познанія. И для всякаго, кто въ такомъ унастроеніи приступитъ къ изученію политическихъ идей Пушкина, станетъ безспорнымъ то, что для остальныхъ можетъ показаться нелѣпымъ парадоксомъ: величайшій русскій поэтъ былъ также совершеннымъ оригинальнымъ и, можно смѣло сказать, величайшимъ русскимъ политическимъ мыслителемъ XIX-го вѣка.

Нижеслѣдующія строки и мѣютъ своей задачей, хотя бы отчасти и лишь въ самыхъ общихъ чертахъ, содѣйствовать укрѣпленію въ читателѣ этого сознанія.

I

Политическое развитіе Пушкина можно въ общихъ чертахъ опредѣлить довольно точно. Этапы его примѣрно совпадаютъ съ основными этапами жизни поэта (также, какъ этапы его общаго, поэтическаго и духовнаго, развитія). Эпоха юношеская, лицейско-петербургская до высылки изъ Петербурга въ маѣ 1820 г., — эпоха кишиневская (1820-23), — эпоха одесская (1823-24), — эпоха уединенія въ Михайловскомъ (осень 1824 по осень 1826 г.) — и наконецъ, эпоха послѣдней зрѣлости, въ которой годъ женитьбы и начала осѣдлой жизни въ Петербургѣ (1831) образуетъ также еще нѣкоторую грань, — таковы раздѣлы внѣшней жизни поэта, въ которые безъ натяжки укладываются и основные этапы его духовнаго — и вмѣстѣ съ нимъ и политическаго — развитія. Мы прослѣдимъ вкратцѣ это послѣднее, чтобы затѣмъ перейти къ систематическому изложенію окрѣпшаго въ немъ политическаго міровоззрѣнія послѣдняго 10-лѣтія его жизни.

Извѣстно, что Пушкинъ созрѣлъ умственно необычайно рано. А. Смирнова приводитъ чрезвычайно проницательныя слова Жуковскаго: „Когда Пушкину было 18 лѣтъ, онъ думалъ, какъ 30-лѣтній человѣкъ; умъ его созрѣлъ гораздо раньше, чѣмъ характеръ“. Уже 13-лѣтнимъ мальчикомъ Пушкинъ пережилъ сознательно патріотическое возбужденіе 1812 года, и, конечно, еще болѣе сознательно — побѣдоносное возвращеніе Александра I и русской арміи въ 1815 году. Въ наступившемъ послѣ этого политическомъ броженіи и либеральномъ возбужденіи юноша Пушкинъ участвовалъ, несомнѣнно, съ болѣею умственной — если не духовной — зрѣлостью, чѣмъ большинство его старшихъ современниковъ. Счастливая судьба свела его въ 1816 г. въ домъ Карамзина съ Чаадаевымъ, который конечно и тогда уже стоялъ неизмѣримо выше средняго уровня гвардейской офицерской молодежи. Чаадаевъ сразу же становится, какъ извѣстно, моральнымъ и политическимъ наставникомъ юнаго Пушкина. Этимъ опредѣляется первое политическое унастроеніе Пушкина, которое, какъ у всего тогдашняго поколѣнія молодежи, основано на сочетаніи патріотическаго подъема съ доволью неопредѣленными „вольнoлюбивыми мечтами“. Позднѣе въ одной неоконченной повѣсти Пушкинъ съ легкой ироніей вспоминалъ, что „въ 18-мъ году были въ модѣ строгость нравовъ и политическая экономія“ (подъ „политической экономіей“ надо разумѣть, очевидно, либеральную систему Адама Смита, которую изучалъ и Евгений Онѣгинъ и, вѣроятно, проблему освобожденія крестьянъ, поднятую въ извѣстной запискѣ Николая Тургенева). Для этой эпохи — какъ и для позднѣйшихъ годовъ пушкинской юности — надо, впрочемъ, различать между серьезными мыслями, которыя въ связи съ вліяніемъ Чаадаева зрѣли въ душевной глубинѣ юнаго Пушкина, и внѣшними бурными проявленіями радикализма въ мальчишески-озорныхъ выходкахъ и „возмутительныхъ“ стихотвореніяхъ. „Строгость нравовъ“ при темпераментѣ Пушкина, конечно, не имѣла особаго вліянія на его тогдашнюю жизнь. „Вольнолюбивыя мечты“, напротивъ, соединялись въ ту пору у Пушкина, какъ извѣстно, съ буйнымъ молодымъ весельемъ и въ этомъ

слово душевной жизни явно не имѣли серьезнаго значенія. Наряду съ этимъ вѣшнимъ „вольнодумствомъ“ въ порядкѣ молодого озорства (за что онъ и былъ высланъ изъ Петербурга), мы имѣемъ основаніе признать у Пушкина и серьезныя „вольнoлюбивыя мечты“, какъ онѣ поэтически выражены въ трогательномъ раздумьѣ о положеніи крестьянъ и мечтѣ объ ихъ освобожденіи („Деревня“ 1819) и въ грезѣ о „зарѣ плѣнительнаго счастья“, именно о крушеніи „самовластья“ (первое посланіе Чаадаеву 1818). Политическіе идеалы Пушкина были, въ сущности, и тогда довольно умѣренными: они сводились, помимо освобожденія крестьянъ, къ идеѣ конституціонной монархіи, къ господству надъ царями „вѣчнаго закона“ („Вольность“, 1819).

Первые годы ссылки, именно кишиневская эпоха, есть, можетъ быть, единственный періодъ жизни Пушкина, когда онъ склонялся къ политическому радикализму. Правда, ближайшимъ образомъ ссылка приводитъ къ нѣкоторому меланхолическому охлажденію политическихъ мечтаній, о которомъ свидѣтельствуетъ второе посланіе къ Чаадаеву изъ Крыма, 1820, гдѣ говорится о „сердцѣ, бурями смиренномъ“. Политическіе интересы, однако, вскорѣ снова страстно заговорили въ душѣ Пушкина. Въ декабрѣ 1820 онъ пишетъ изъ Каменки Гнѣдичу, что его время протекаетъ „между аристократическими обѣдами и демагогическими спорами“ въ обществѣ людей, которыхъ онъ называетъ „умами оригинальными“, людьми, „извѣстными въ нашей Россіи“. То были, очевидно, кромѣ членовъ семьи Раевскихъ и Давыдовыхъ, будущіе члены „южнаго общества“. Въ мартѣ 1821 г., въ письмѣ изъ Кишинева къ А. Н. Раевскому, онъ съ увлеченіемъ говоритъ о греческомъ возстаніи. Замѣчательно свидѣтельство одной записки Кишиневского дневника того же года объ увлеченіи Пушкина Пестелемъ, котораго онъ называетъ „умнымъ человекомъ во всемъ смыслѣ слова“, „однимъ изъ самыхъ оригинальныхъ умовъ, которыхъ онъ знаетъ“. Извѣстно также, — со словъ самого Пушкина (Переписка, I, 318) — что Пушкинъ „былъ масонъ, членъ Кишиневской ложи“, т. е. той, за которую уничтожены въ Россіи всѣ ложи. Политическое міросозерцаніе Пушкина той эпохи

изложено имъ въ необычайно интересныхъ „Историческихъ замѣчаніяхъ“ 1822 г. Эти „замѣчанія“ суть размышленія о политической судьбѣ Россіи послѣ Петра Великаго. Впервые въ творчествѣ Пушкина здѣсь раздается нота восхищенія Петромъ, пока еще, однако, довольно сдержаннаго. Пушкинъ рѣзко противопоставляетъ „сѣвернаго исполина“ его „ничтожнымъ наслѣдникамъ“. Вызванное имъ къ жизни огромное движеніе государственно-культурнаго обновленія продолжалось какъ бы по сильной инерціи при его преемникахъ, „между тѣмъ какъ азіатское невѣжество обитало при дворѣ“. Славному царствованію Петра, этого „самовластнаго Государя“ съ „необыкновенной душой“, противопоставляются царствованія „безграмотной Екатерины I, кроваваго злодѣя Бирона и сладострастной Елизаветы“. Но особенно рѣзко сужденіе Пушкина о царствованіи Екатерины II. Сочувствуя (съ очень интересными оговорками, на которыхъ мы не можемъ здѣсь останавливаться) ея вѣшной политикѣ и иронически указывая, что она „заслуживаетъ удивленія потомства“, „если царствовать значитъ знать слабость души человѣческой и ею пользоваться“, Пушкинъ съ величайшимъ негодованіемъ говоритъ о порочности Екатерины, о жестокости „ея деспотизма подъ личиной кротости и терпимости“, о ничтожности и ошибкахъ ея законодательства, о расхищеніи казны, закрѣпощеніи Малороссіи, о преслѣдованіи независимой мысли (Новикова, Радищева, Княжнина), о гоненіи духовенства и монашества, которому Россія обязана „нашей исторіей, слѣдственно и просвѣщеніемъ“. „Лицемѣрный наказъ“ Екатерины вызываетъ „праведное негодованіе“, и Пушкинъ отказывается понимать „подлость русскихъ писателей“, его прославлявшихъ. Созывъ депутатовъ есть для него „непристойно разыгранная фарса“. Сношенія съ философами Запада были „отвратительнымъ фиглярствомъ“, „голосъ обольщеннаго Вольтера не избавитъ ея славной памяти отъ проклятія Россіи“. „Развратная Государыня развратила и свое государство“. Наконецъ, о царствованіи Павла коротко говорится: оно „доказываетъ одно: что и въ просвѣщенные времена могутъ родиться Кадилгулы“. „Замѣчанія“ кончаются указаніемъ на „славную

шутку г-жи де-Сталь: "En Russie le gouvernement est un despotisme mitigé par la strangulation", которую "русские защитники самовластья... принимают... за основание нашей конституции".

Положительные политические идеалы Пушкина и в эту эпоху не идут далѣе требованія конституціонной монархіи, обезпечивающей свободу, правовой порядокъ и просвѣщеніе. Но умонастроение его, какъ оно выражено въ „Историческихъ Замѣчаніяхъ“ проникнуто моральнымъ негодованіемъ противъ власти и въ этомъ смыслѣ носить отпечатокъ *политическаго радикализма*. Въ одномъ письмѣ того времени къ Вяземскому (2 января 1822, I, 37), рекомендуя ему своего новаго пріятеля Липранди, который „не любимъ нашимъ правительствомъ и въ свою очередь не любитъ его“, Пушкинъ прибавляетъ: „вѣрная порука за честь и умъ“.

„Историческія замѣчнія“ 1822 г. интересны еще въ одномъ отношеніи: въ нихъ намѣчена одна мысль, которая прямо противоположна позднѣйшему и окончательно политическому міросозерцанію Пушкина, именно идея антилиберальнаго „народническаго“ демократизма. При всемъ своемъ отрицаніи самодержавія, Пушкинъ выражаетъ удовлетвореніе, что аристократическія попытки его ограниченія въ XVIII вѣкѣ не удалась и что „хитрость государей торжествовала надъ честолюбіемъ вельможъ“ — что „спасло насъ отъ чудовищнаго феодализма“. Благодаря этому всѣ классы общества теперь объединены „противу общаго зла“. Мы увидимъ ниже, что государственное міросозерцаніе зрѣлаго Пушкина опредѣляется политической идеей, прямо противоположной этой мысли.

Этотъ „кишиневскій“ политическій радикализмъ смѣняется однако скоро умонастроеніемъ иного рода. Пушкинъ переживаетъ, примѣрно со времени переселенія въ Одессу (1823), не только психологическое охлажденіе своихъ политическихъ чувствъ и отрезвленіе, но и существенное измѣненіе своихъ воззрѣній: еще въ Кишиневѣ и потомъ въ Одессѣ онъ переживаетъ, на основаніи личныхъ встрѣчъ съ участниками греческаго возстанія, глубокое разочарованіе въ послѣднемъ. Онъ увидалъ въ „новыхъ Леонидахъ“ сбродъ трусливыхъ, невѣжественныхъ, безчестныхъ людей. До Петербурга

дошли слухи, что Пушкинъ измѣнилъ освященному имени Байрона дѣлу греческаго освобожденія. Поэтъ оправдывается въ письмѣ къ А. Н. Раевскому (іюнь 1824 Одесса): „Что бы тамъ ни говорили, ты не долженъ вѣрить, чтобы когда нибудь сердце мое недоброжелательствовало благороднымъ усиліямъ возрождающагося народа“. „Я не варваръ и не апостолъ Корана, дѣло Греціи меня живо интересуеетъ, но именно поэтому меня возмущаетъ видъ подлецовъ (*ces misérables*), обремененныхъ священнымъ званіемъ защитниковъ свободы“. Отъ самозащиты Пушкинъ переходитъ тотчасъ же къ нападенію. Упреки петербургскихъ либераловъ даютъ ему поводъ высказать общую мысль о цѣнности ходячихъ общественныхъ сужденій: „Люди по большей части самолюбивы, непонятны, легкомысленны, невѣжественны, упрямы; старая истина, которую все-таки не худо повторить. — Они рѣдко терпятъ противорѣчіе, никогда не прощаютъ неуваженія, они легко увлекаются пышными словами, охотно повторяютъ всякую новость; и, къ ней привыкнувъ, уже не могутъ съ ней разстаться. — Когда что нибудь является общимъ мнѣніемъ, то глупость общая вредитъ ему столь же, сколько общее единодушіе ее поддерживаетъ“. Мы имѣемъ въ этихъ словахъ первое нападеніе поэта на ходячій типъ русскаго либеральнаго общественнаго мнѣнія — въ извѣстномъ смыслѣ пророческій въ отношеніи позднѣйшей формации русской радикальной интеллигенціи.

Есть и другіе признаки измѣненія политическаго настроенія Пушкина въ одесскую эпоху. Правда, при извѣстии о паденіи реакціоннаго министра народнаго просвѣщенія Голицына и замѣнѣ его Шишковымъ, у Пушкина вырываются горькія слова: „я и радъ и нѣтъ. Давно девизъ всякаго русскаго есть *чѣмъ хуже, тѣмъ лучше*“. Но не надо упускать изъ виду, что здѣсь дѣло идетъ о свободѣ печати, къ которой Пушкинъ и въ позднѣйшіе годы, при всѣй умѣренности и консерватизмѣ своихъ воззрѣній, былъ особенно чувствителенъ. Для общаго политическаго настроенія Пушкина существенны другіе признаки. Прежде всего — разочарованіе въ возможности успѣшной пропаганды свободы, какъ оно выразилось въ извѣстномъ стихотвореніи: „Свободы

сѣятель пустынный" (1823). Въ письмѣ къ А. И. Тургеневу отъ 1 декабря этого года, посылая ему оду на смерть Наполеона, Пушкинъ пишетъ по поводу послѣднихъ ея стиховъ ("... и міру вѣчную свободу изъ мрака ссылки завѣщалъ"): "Эта строфа нынѣ не имѣетъ смысла, но она написана въ началѣ 1821 года — впрочемъ, это мой послѣдній либеральный бредъ, я закаялся и написалъ на дняхъ подражаніе басни умѣреннаго демократа I. X. („изыде сѣятель сѣяти сѣмена свои“)" (далее приводятся стихи „Свободы сѣятель пустынный") (I, 91). Интересно еще одно указаніе, свидѣтельствующее объ измѣненіи по существу политическихъ идей Пушкина. Въ Одессѣ онъ встрѣтился съ извѣстнымъ консервативно-религіознымъ писателемъ Стурдзою, котораго онъ въ 1819 году высмѣялъ въ эпиграммѣ, какъ „библическаго и монархическаго". Теперь онъ пишетъ Вяземскому (23 октября 1823, I, 78): „Здѣсь Стурдза монархическій; я съ нимъ не только пріятель, но кой о чемъ и мыслимъ одинаково, не лукавя другъ передъ другомъ". Этому измѣненію воззрѣній Пушкина въ сторону консерватизма лишь кажущимся образомъ противорѣчитъ извѣстное письмо объ атеизмѣ, вызвавшее удаленіе Пушкина со службы и ссылку въ Михайловское. Не только онъ вскорѣ позднѣе называетъ это письмо „легкомысленнымъ", не только рѣчь идетъ здѣсь о чисто религіозной проблемѣ, но въ самомъ письмѣ слышны — обыкновенно незамѣчаемая — ноты умонастроения, идущія въ разрѣзъ съ ходячимъ міровоззрѣніемъ „просвѣтительнаго" либерализма, вліяніе котораго Пушкинъ испыталъ въ ранней молодости. Своего наставника въ атеизмѣ „англичанина, глухого философа" онъ называетъ „единственнымъ умнымъ аѳеємъ, котораго я еще встрѣтилъ", а о самомъ міровоззрѣніи онъ отзывается: „Система не столь утѣшительная, какъ обыкновенно думаютъ, но, къ несчастію, болѣе всего правдоподобная". (I, 103). Сердце Пушкино влеклось, очевидно, уже въ то время къ совсѣмъ иному міровоззрѣнію¹⁾. Осенью 1824 года, уже изъ Михайловскаго, онъ пишетъ пріятелю

¹⁾ Ср. нашу статью „Религіозность Пушкина", *Путь*, 1933, № 40. Парижъ, YMCA-Press,

молодости Н. И. Кривцову: „Правда ли, что ты сталъ аристократомъ? — Это дѣло. Но не забывай демократическихъ друзей 1818 года... *Всѣ мы перемѣнились.*" (I, 135).

Эпоха уединенія въ Михайловскомъ (1824-26) можетъ считаться эпохой рѣшающаго духовнаго созрѣванія поэта; въ связи съ послѣднимъ стоитъ и созрѣваніе политическое. Правда, внѣшнія условія жизни Пушкина были мало для этого благоприятны. Именно въ эти годы, раздраженный надзоромъ полиціи и, въ особенности, столкновеніями съ ограниченнымъ отцомъ, который взялъ на себя наблюденіе за его поведеніемъ и просмотръ его писемъ, и томясь, какъ узникъ, въ вынужденномъ заключеніи, Пушкинъ переживаетъ припадки настоящаго бѣшенства и отчаянія и потому и въ политическомъ настроеніи обуреваемъ чувствами раздраженія и озлобленія. Послѣ одного столкновенія съ отцомъ, онъ пишетъ горькое письмо псковскому губернатору, прося черезъ него царя, какъ о „послѣдней милости", о заключеніи его въ крѣпость. (I, 141). Жуковскаго онъ въ то же время проситъ: „Спаси меня хоть крѣпостью, хоть Соловецкимъ монастыремъ... Я hors la loi" (I, 142). Не удивительно, что онъ выражаетъ недоумѣніе, какъ могъ Вяземскій „на Руси сохранить свою веселость" (I, 153), что онъ считаетъ Стеньку Разина „единственнымъ политическимъ лицомъ русской исторіи", что по поводу предполагаемой покупки „Собранія русскихъ стиховъ" за 75 рублей онъ говоритъ: „я за всю Русь столько не даю". Онъ ставитъ грустный вопросъ: „что мнѣ въ Россіи дѣлать?" (I, 314), мечтаетъ бѣжать за границу и даже строить съ этой цѣлью сложный конспиративный планъ. Письма его полны выраженій тоски, отчаянія и шутиливо-серьезной мольбы о спасеніи („батюшки, помогите!"). Не удивительно, что горечью проникнуто и его политическое умонастроеніе. Когда Вяземскій, по случаю смерти Карамзина, называетъ оппозиціонно-настроенныхъ противниковъ историка „сорванцами и подлецами", то Пушкинъ отвѣчаетъ: „Ахъ, милый... слышишь обвиненіе и не слышишь оправданія и рѣшаешь; это шемякинъ судъ. Если уже Вяземскій etc., такъ что же прочіе? Грустно, братъ, такъ грустно, что хоть сейчасъ въ пелю" (I, 358). Рѣзко отрицательное отношеніе къ Але-

ксандру I не оставляет Пушкина и послѣ смерти царя. По поводу извѣстія о стихахъ Жуковского на смерть царя онъ пишетъ иронически Жуковскому: „Предметъ богатый. Но въ теченіе 10 лѣтъ его царствованія, лира твоя молчала. Это лучший упрекъ ему... Слѣдственно, я не совсѣмъ былъ виноватъ, подсвистывая ему до самаго гроба“ (I, 319).

Если, однако, оставить въ сторонѣ и личную горечь поэта, и обусловленное имъ настроеніе общей оппозиционности, и убѣжденно отрицательное отношеніе къ личности Александра I (слѣды котораго мы находимъ и гораздо позднѣе, въ теченіе всей жизни поэта; только въ „Мѣдномъ Всадникѣ“ 1834 и въ стихотвореніи „19 октября 1836“ это чувство вытѣсняется воспоминаніемъ о славѣ его царствованія), — то не трудно подмѣтить въ болѣе глубокомъ слоѣ духовной жизни поэта серьезное созрѣваніе его политическаго міровоззрѣнія — и притомъ въ сторону консерватизма. Главнымъ памятникомъ его является драма „Борисъ Годуновъ“; Пушкинъ самъ пишетъ, что она написана „въ хорошемъ духѣ“, хотя онъ и „не могъ упрятать всѣхъ моихъ ушей подъ колпакъ юродиваго: торчатъ!“ (I, 301). Изученіе исторіи Смуты приводитъ его къ одному убѣжденію, которое является позднѣе основополагающимъ для его политическаго міровоззрѣнія — къ убѣжденію, что монархія есть въ народномъ сознаніи фундаментъ русской политической жизни. Любопытна въ этомъ отношеніи характеристика Пимена: „Въ немъ собралъ я черты, плѣнившія меня въ нашихъ старыхъ лѣтописяхъ, простодушіе, умиленная кротость, нѣчто младенческое и вмѣстѣ мудрое, усердіе, набожность къ власти Царя, данной отъ Бога... Мнѣ казалось, что сей характеръ, все вмѣстѣ, новъ и знакомъ — для русскаго сердца“ (II, 19). И хотя Пушкинъ, какъ поэтъ, протестуетъ противъ ограниченности читателей, приписывающихъ драматургу политическія мнѣнія его героевъ, однако не подлежитъ сомнѣнію, что погруженіе въ русскую политическую исторію XVI-XVII вѣка углубило и собственное политическое міровоззрѣніе Пушкина. Итогъ его развитія сказывается въ сужденіяхъ Пушкина о декабрьскомъ возстаніи и его подавленіи, и въ связи съ этимъ — о

революціи вообще. Хотя онъ волнуется и страдаетъ за участь своихъ друзей, онъ все же далекъ отъ солидаризаціи съ ихъ политическими страстями. Если учесть безграничное мужество и правдивость Пушкина, если вспомнить, что Николаю I, при первомъ свиданіи съ нимъ, отъ котораго зависѣла вся судьба поэта, онъ открыто сказалъ, что, если бы былъ въ Петербургѣ, онъ не могъ бы отречься отъ своихъ друзей и принять бы участіе въ возстаніи — что даже въ официальномъ, предназначенномъ для Царя, письмѣ къ Жуковскому въ январѣ 1826, прося его исходатайствовать у новаго Царя амнистію, онъ откровенно перечисляетъ свои „вины“ — дружбу съ „неблагонадежными“ лицами, участіе въ кишиневской ложѣ, связь „съ большей частью нынѣшнихъ заговорщиковъ“, но вмѣстѣ съ тѣмъ подчеркиваетъ, что Александръ I, сославъ его, „могъ упрекнуть“ его „только въ безвѣріи“ (I, 318). Важны признанія поэта, которымъ, повторяемъ, можно вполне вѣрить. Онъ „никогда не проповѣдывалъ ни возмущеній, ни революцій — напротивъ“ и „желалъ бы *вполнѣ* и *искренно* помириться съ правительствомъ“ (Дельвигу, февраль 1826, I, 326). Въ совершенно интимномъ письмѣ къ Вяземскому та же мысль выражена еще острѣе: „Бунтъ и революція мнѣ никогда не нравились“ (іюль 1826, I, 358). Отношеніе Пушкина къ декабристамъ и декабристскому движенію было вообще сложнымъ. Въ ранней молодости онъ огорчался и оскорблялся, что его друзья и школьные товарищи не хотѣли включить его въ составъ заговорщиковъ (ср. Воспоминанія Пуштина). Уже этотъ фактъ — непосвященія Пушкина въ заговоръ — необъяснимъ одной ссылкой на недовѣріе къ Пушкину за его легкомысліе: мало ли легкомысленныхъ и даже прямо морально недостойныхъ людей было въ составѣ заговорщиковъ! Онъ свидѣтельствуетъ, что друзья Пушкина съ чуткостью, за которую имъ должна быть благодарна Россія, улавливали уже тогда, что по существу своего духа онъ не могъ быть заговорщикомъ. Позднѣе, въ отрывкахъ 10-ой главы Онѣгина, Пушкинъ далъ уничтожающую характеристику декабристовъ: „...Все это были разговоры, и не входила глубоко въ сердца мятежныя наука. Все это было только скука, бездѣлье

молодыхъ умовъ, забавы взрослыхъ шалуновъ". Но и уже тогда же послѣ крушенія возстанія Пушкинъ пишетъ Дельвигу замѣчательныя слова, выражающія истинное существо его духа, органически неспособнаго къ партійному фанатизму. Сожалѣя объ участи друзей, надѣясь на великодушіе царя къ участникамъ преодолѣннаго возстанія, онъ прибавляетъ: „Не будемъ ни суевѣрны, ни односторонни, какъ французскіе трагики; но взглянемъ на трагедію взглядомъ Шекспира“ (февраль 1826, I, 326). Уже тогда въ Пушкинѣ, очевидно, выработалась какая то совершенно исключительная нравственная и государственная зрѣлость, безпартійно-человѣческой, исторической, „шекспировскій“ взглядъ на политическую бурю декабря 1825 г.

Съ воцареніемъ Николая I мѣняется, какъ извѣстно, общественное положеніе Пушкина; и его отношеніе къ личности новаго царя было съ самаго начала и до конца жизни поэта, несмотря на множество разочарованій, обидъ и раздраженій, совершенно инымъ, чѣмъ къ личности Александра. Царь, какъ извѣстно, сначала обладалъ его, даровалъ ему свободу, обѣщалъ избавить отъ мелочныхъ придирокъ цензуры, взявъ на себя самого роль его „единственного цензора“; фактически онъ отдалъ подъ внѣшне-вѣжливую, но унижительную и придирчиво-враждебную опеку Бенкендорфа, въ силу которой не только литературная дѣятельность, но и личная жизнь поэта оставалась до самой его смерти подъ полицейскимъ надзоромъ. За умѣренную записку „О народномъ образованіи“, представленную Пушкинымъ по порученію Царя — записку, въ которой консервативныя идеи сочетались съ указаніемъ цѣнности объективнаго научнаго образованія русскихъ юношей за границей, — онъ получилъ черезъ Бенкендорфа пренебрежительную похвалу царя, но и строжайшую нотацію о вредности увлеченія „безнравственнымъ и безпокойнымъ“ просвѣщеніемъ. Дважды во второй половинѣ 20-хъ годовъ „снова собирались тучи“ „надъ главою“ поэта: когда нѣкоторые стихи поэмы „Андрѣ Шенье“, написанной до *декабрьскаго возстанія*, были приняты за „возмутительную“ критику подавленія мятежа, и когда правительство напало на слѣдъ юношеской кощунственной шуточной

поэмы „Гавриліада“, — въ обоихъ случаяхъ Пушкину грозила большая опасность, и онъ меланхолически ставилъ вопросъ, найдетъ ли онъ снова „непреклонность и терпѣніе гордой юности моей“. И уже въ послѣдніе годы жизни попытка уйти въ отставку, скинуть тяготившій его придворный мундиръ и осуществить завѣтную мечту о творческомъ уединеніи въ деревнѣ вызвала такое негодование царя, что Пушкинъ долженъ былъ просить прощенія. Пушкинъ, искренно чаявшій, что несмотря на смуту и казни начала царствованія, въ лицѣ Николая Россія обрѣтетъ достойнаго преемника Петра, къ концу жизни пришелъ къ убѣжденію, что въ Николаѣ есть „beaucoeur du Praporchique et un peu du Pierre le Grand“ (дневникъ 21 мая 1834). Часто Пушкинъ и въ послѣдніе годы жизни приходилъ въ отчаяніе отъ русской политической обстановки. „Чортъ догадалъ меня родиться въ Россіи съ душой и талантомъ! Весело, нечего сказать!“ — пишетъ онъ женѣ въ маѣ 1836, оцѣнивая свое положеніе журналиста (III, 316). И все же Пушкинъ сохранялъ искреннее доброе чувство къ царю. „Побранившись“ съ царемъ (изъ за прошенія объ отставкѣ), онъ не только „трухнулъ“, но ему „и грустно стало“: „долго на него сердиться не умѣю, хоть и онъ не правъ“ (III, 152). Онъ не хочетъ, чтобы его могли упрекнуть въ неблагодарности: „это хуже либерализма“ (III, 154). Въбѣшеннѣйшій тѣмъ, что полиція вскрывала его письма къ женѣ и доносила ихъ содержаніе царю, возмущаясь „глубокой безнравственностью въ привычкахъ нашего правительства“, онъ болѣе всего удивляется, что царь, „человѣкъ благовоспитанный и честный“, участвуетъ въ этой интригѣ (Дневникъ 10 мая 1834); а женѣ онъ пишетъ по этому же случаю: „на *того* (царя) я пересталъ сердиться, потому что, *toute réflexion faite*, не онъ виновать въ свинствѣ, его окружающемъ. А живя въ н, по неволѣ привыкнешь къ г, и вонь его тебѣ не будетъ противна, даромъ что gentleman“ (III, 128). Выраженія трогательной преданности царю на смертномъ одрѣ безусловно должны быть признаны достойными, несмотря на попытку Щеголева („Дуэль и смерть Пушкина“) опорочить ихъ источникъ.

Отчасти въ связи съ переменой общественнаго

положенія Пушкина съ начала новаго царствованія и съ отношеніемъ къ личности Николая, но по существу и независимо отъ этихъ случайныхъ условій, просто въ силу наступленія окончательной духовной — и тѣмъ самымъ и политической — зрѣлости поэта, политическое міросозерцаніе Пушкина, начиная съ 1826 года, окончательно освобождается и отъ юношескаго бунтарства, и отъ романтически-либеральной мечтательности и является какъ глубоко-государственное, изумительно мудрое и трезвое сознаніе, сочетающее принципиальный консерватизмъ съ принципами уваженія къ свободѣ личности и къ культурному совершенствованію. Самъ Пушкинъ вспоминаетъ о существенномъ переломѣ своихъ идей въ 1826 г. (въ письмѣ къ Осиповой 26 дек. 1835, говоря о десятилѣтіи декабрьскаго возстанія, III, 260). Мицкевичъ, встрѣчавшійся, какъ извѣстно, съ Пушкинымъ въ Москвѣ (съ конца 1826 по 1829 г.) въ некрологѣ о Пушкинѣ въ газетѣ „Le Globe“ 1837, вспоминая о своемъ впечатлѣніи отъ тогдашняго Пушкина, говоритъ: „Когда онъ говорилъ о вопросахъ иностранной и отечественной политики, можно было подумать, что слышите заматерѣлаго въ государственныхъ дѣлахъ человѣка, ежедневно читающаго отчетъ о парламентскихъ преніяхъ“. Извѣстныя намъ теперь данныя (въ особенности драгоценны въ этомъ отношеніи вновь найденныя письма Пушкина къ Елизѣ Хитрово) вполне подтверждаютъ это сужденіе Мицкевича. Начиная примѣрно съ 1827 года у Пушкина есть сложившееся оригинальное политическое міросозерцаніе, основанное какъ на основательномъ историческомъ знаніи (Пушкинъ былъ, какъ извѣстно, произведеннымъ историкомъ, хотя ему и не удалось осуществить въ трудахъ, достойныхъ его дарованія, это призваніе; въ его библіотекѣ, описанной Модзалевскимъ, труды по исторіи занимаютъ одно изъ первыхъ мѣстъ и по числу томовъ превосходятъ даже отдѣлъ иностранной литературы), такъ и на напряженно-страстнымъ вниманіи къ текущимъ событіямъ европейской и русской политики. Съ 1826-27 г. г. политическое міровоззрѣніе Пушкина существенно уже не измѣнялось; въ этомъ краткомъ очеркѣ нѣтъ надобности особо прослѣживать нѣкоторое усиленіе консервативной тенденціи

послѣ 1831 г. — въ эпоху семейной жизни и относительнаго упрочненія общественнаго положенія поэта, — ибо оно ничего не измѣнило по существу въ политическихъ идеяхъ поэта. Мы можемъ поэтому перейти теперь къ сжатому систематическому обзору основныхъ догматовъ политической вѣры поэта.

II

Общимъ фундаментомъ политическаго міровоззрѣнія Пушкина было національно-патріотическое умонастроеніе, оформленное какъ *государственное* сознаніе. Этимъ былъ обусловленъ прежде всего его страстный постоянный интересъ къ *внѣшне-политической* судьбѣ Россіи. Въ этомъ отношеніи Пушкинъ представляетъ въ исторіи русской политической мысли совершенный уникумъ среди независимыхъ и оппозиціонно настроенныхъ русскихъ писателей XIX-го вѣка. Пушкинъ былъ однимъ изъ немногихъ людей, который остался въ этомъ смыслѣ вѣренъ идеаламъ своей первой юности — идеаламъ поколѣнія, въ началѣ жизни пережившаго патріотическое возбужденіе 1812-15 годовъ. Большинство сверстниковъ Пушкина къ концу 20-хъ и въ 30-хъ годахъ утратило это государственно-патріотическое сознаніе — отчасти въ силу властвовавшаго надъ русскими умами въ теченіе всего XIX-го вѣка инстинктивнаго ощущенія непоколебимой государственной прочности Россіи, отчасти по свойственному уже тогда русской интеллигенціи сентиментальному космополитизму и государственному безмыслію. Уже въ 1832 году Пушкинъ выразился въ отношеніи своего отнюдь не радикальнаго друга Вяземскаго, что онъ принадлежитъ къ „озлобленному народу, не любящему Россію“ и отмѣтилъ болѣе мѣсто русскаго либерализма, упомянувъ о людяхъ, „стоящихъ въ оппозиціи не къ правительству, а къ Россіи“ (запись дневника Муханова; грозное подтвержденіе этого мнѣнія даетъ случай высокоодареннаго и благороднаго Печерина, эмигрировавшаго въ 1835 году и

проповѣдывавшаго безпощадную ненависть къ Россіи). Изъ этой позиціи Пушкина объясняется его извѣстное отношеніе къ польскому возстанію 1831 года и къ попыткѣ европейскаго вмѣшательства въ русско-польскія дѣла — отношеніе, вызвавшее суровую критику такихъ друзей Пушкина, какъ Вяземскій и А. Тургеневъ, и получившее одобреніе лишь Чаадаева и нѣкоторыхъ декабристовъ. Какъ бы ни судить по существу о позиціи Пушкина въ этомъ вопросѣ, очевидно, что оно опредѣлялось у него сурово-трезвымъ пониманіемъ государственныхъ интересовъ Россіи, одержавшимъ въ немъ верхъ надъ яснымъ ощущеніемъ поэтически-романтической и трагической стороны польскаго возстанія (ср. его письма къ Хитрово и письма къ другимъ лицамъ 1831 года). Одинъ изъ современниковъ, графъ Комаровскій, передаетъ, что Пушкинъ имѣлъ въ то время озабоченный, угнетенный видъ и на вопросъ о причинахъ такого настроенія отвѣчалъ: „Развѣ вы не понимаете, что теперь время чуть ли не столь же грозное, какъ въ 1812 году?“ (Русск. Арх. 1879, I, стр. 385). Въ наброскахъ къ статьѣ о Радищевѣ (1833) Пушкинъ писалъ: „Нынѣ нѣтъ въ Москвѣ мнѣнія народнаго; нынѣ бѣдствія или слава отечества не отзываются въ этомъ сердцѣ Россіи. Грустно было слышать толки московскаго общества во время послѣдняго польскаго возстанія; гадко было видѣть бездушныхъ читателей французскихъ газетъ, улыбавшихся при вѣсти о нашихъ неудачахъ“. („Русск. Старина“ 1884, декабрь, стр. 516; ср. умную и основательную статью Б. М. Бѣляева объ отношеніи Пушкина къ польскому возстанію въ приложеніи къ „Письмамъ Пушкина къ Хитрово“)¹). Въ сущности, то же чувство высказалъ Пушкинъ уже въ 1826 г. въ извѣстныхъ словахъ: „Мы въ сношеніяхъ съ иностранцами не имѣ-

¹) Таково же сужденіе Пушкина о московскомъ обществѣ въ эпоху волновавшей Пушкина французской революціи 1830 г. „Здѣсь никто не получаетъ французскихъ газетъ, и въ области политическихъ мнѣній оцѣнка всего происшедшаго сводится къ мнѣнію Англійскаго клуба, рѣшившаго, что князь Дмитрій Голицынъ былъ неправъ, запретивъ ордонансомъ экартэ“ (намекъ на ордонансы Карла X, давшіе толчекъ июльской революціи). „И среди этихъ то орангутанговъ я принужденъ жить въ самое интересное время нашего вѣка“ (Письмо къ Э. Хитрово 21 авг. 1830).

емъ ни гордости, ни стыда... Я конечно презираю отечество мое съ головы до ногъ, — но мнѣ досадно, если иностранецъ раздѣляетъ это чувство“ (Письмо къ Вяземскому 27 мая 1826, I, 351-352). А подъ конецъ жизни, въ своемъ изумительномъ по исторической и духовной мудрости письмѣ къ Чаадаеву въ октябрѣ 1836 г., содержащемъ гениальную критику суроваго приговора Чаадаева надъ русской исторіей и культурой въ его „философическомъ письмѣ“, Пушкинъ пишетъ: „Я далекъ отъ восхищенія всѣмъ, что я вижу вокругъ себя; какъ писатель, я огорченъ, какъ человѣкъ съ предразсудками, я оскорбленъ; но клянусь вамъ честью, что ни за что на свѣтѣ я не хотѣлъ бы перемѣнить отечество, ни имѣть другой исторіи, чѣмъ исторія нашихъ предковъ, какъ ее послалъ намъ Богъ“ (III, 388).

Художественнымъ памятникомъ этого государственно-патріотическаго сознанія Пушкина — если оставить здѣсь въ сторонѣ поэмы и стихи, посвященные частью русской исторіи, частью откликамъ на современныхъ поэту внѣшне-политическія событія — является замѣчательный прозаическій „Отрывокъ изъ неизданныхъ записокъ дамы. 1811 годъ“ (1831), обыкновенно перепечатываемый теперь подъ заглавіемъ „Рославлевъ“. Пушкинъ задумалъ дать критику слабаго, казенно-патріотическаго романа Загоскина изъ эпохи 1812 г. „Рославлевъ“ — въ формѣ фиктивныхъ записокъ „дамы“, свидѣтельницы событій, изображенныхъ Загоскинымъ. Въ этомъ отрывкѣ — на фонѣ безпощадной критики легкомыслія и государственной безответственности свѣтскихъ круговъ Россіи въ 1812 году, въ противовѣсъ фальшиво-идеализирующему изложенію Загоскина — обрисовывается со свойственной Пушкину гениальной художественной четкостью и правдивостью образъ одинокой героической дѣвушки — Полины. Этотъ образъ — какъ, впрочемъ, и образъ Татьяны Лариной — есть прототипъ будущихъ героинь тургеневскихъ романовъ, русскихъ дѣвушекъ, которыя нравственной правдивостью, героизмомъ, жертвенностью превосходятъ окружающихъ ихъ тонко образованныхъ, но слабовольныхъ, эгоистическихъ и духовно надломленныхъ, мужчинъ. Но характерно, что содержаніемъ нравственнаго

паеоса пушкинской героини является государственный патриотизмъ, боль и тревога за судьбу Россіи, чувство національной гордости и презрѣніе къ людямъ, чуждымъ этому чувству.

На почвѣ этого государственно-патріотическаго сознанія вырастаетъ конкретно-политическое міровоззрѣніе Пушкина. Прежде всего надо отмѣтить, что Пушкинъ, въ качествѣ ума конкретно-реалистическаго, никогда не могъ быть связанъ партійно-политическими догматами. Замѣчательно, что Пушкинъ, при всей страстности его интереса къ политической жизни не только Россіи, но и Запада, и при всемъ его убѣжденномъ „западничествѣ“, совершенно свободенъ отъ того рабски-ученическаго, восторженно-некритическаго отношенія къ западнымъ политическимъ идеямъ и движеніямъ, которое такъ характерно для обычнаго типа русскихъ западниковъ. Будучи западникомъ, онъ очень хорошо понималъ коренное отличіе исторіи Россіи отъ исторіи Запада¹⁾ и отчасти изъ этого историческаго сознанія, отчасти изъ конкретнаго воспріятія политической реальности своего времени отказывался непосредственно примѣнять политическія доктрины Запада къ Россіи. Теперь съ очевидностью выяснено, что въ отношеніи Запада, въ частности Франціи, Пушкинъ былъ умѣреннымъ конституціоналистомъ (будучи одновременно, какъ увидимъ ниже, рѣзкимъ противникомъ демократіи). Онъ говоритъ всегда съ величайшимъ уваженіемъ о *monarche de-Stael*, и политическія доктрины ея и Бенжамена Констана оказали на него несомнѣнное вліяніе. Въ началѣ оппозиціоннаго движенія и революціи 1830 г. во Франціи онъ стоитъ на сторонѣ оппозиціи и противъ министерства Полиньяка, и лишь потомъ испытываетъ отталкиваніе и отъ радикализма революціонной партіи, и отъ буржуазной іюльской монархіи Луи-Филиппа (ср. основательную статью Б. В. Томашевскаго на эту тему въ приложеніи къ „Письмамъ Пушкина къ Хитрово“).

¹⁾ „Россія никогда ничего не имѣла общаго съ остальной Европой, ... исторія ея требуетъ другой мысли, другой формулы, чѣмъ мысли и формы, выведенныя Гизотомъ изъ исторіи христіанскаго Запада“ (Программа 3-ей статьи объ „Исторіи Русскаго Народа“ Полевого. Собр. сочин., изд. „Слово“ 1921, V, с. 208).

Точно такъ же въ отношеніи французской революціи 1789 г. онъ отличаетъ самое „огромную драму“ отъ „жалкаго эпизода“, „гадкой фарсы“ возстанія черни („Разговоръ“ 1830), а въ отношеніи англійской революціи XVII вѣка высказываетъ уваженіе къ государственному уму Кромвеля и восхищеніе передъ поэтомъ революціи Мильтономъ („О Мильтонѣ и Шатобриановомъ переводѣ „Потеряннаго рая“). Въ отношеніи же Россіи Пушкинъ въ зрѣлую эпоху никогда не былъ конституціоналистомъ, а — хотя съ существенными оговорками, о которыхъ ниже — былъ въ общемъ скорѣе сторонникомъ самодержавной монархіи. Въ политическомъ міровоззрѣніи Пушкина можно намѣтить лишь немногіе общіе принципы — въ высшей степени оригинальные, не укладывающіеся въ программу какой либо партіи XIX-го вѣка. Мы отмѣтимъ сначала вкратцѣ эти общіе принципы, чтобы затѣмъ прослѣдить ихъ приложеніе къ проблемамъ русской политики.

По общему своему характеру, политическое міровоззрѣніе Пушкина есть *консерватизмъ*, сочетающійся однако съ напряженнымъ требованіемъ свободнаго культурнаго развитія, обезпеченнаго правопорядка и независимости личности, — т. е. въ *этомъ смыслѣ* проникнутый *либеральными* началами.

Консерватизмъ Пушкина складывается изъ трехъ основныхъ моментовъ: изъ убѣжденія, что исторію творятъ и потому государствомъ должны править не „всѣ“, не средніе люди или масса, а избранные, вожди, великіе люди, изъ тонкаго чувства исторической традиціи, какъ основы политической жизни, и наконецъ изъ заботы о мирной непрерывности политическаго развитія и изъ отвращенія къ насильственнымъ переворотамъ. Какъ Пушкинъ въ своей поэзіи чувства исторической традиціи, такъ онъ въ своей прозѣ, толпу, господствующее обывательское мнѣніе, такъ онъ проповѣдуетъ эту же вѣру въ своихъ политическихъ размышленіяхъ. Въ стихотвореніи „Полководецъ“ (1835) онъ заключаетъ свое размышленіе надъ трагической судьбой непонятаго и отвергнутаго общественнымъ мнѣніемъ военнаго генія Барклая-де-Толли общей мыслью:

О люди, жалкій родъ, достойный слезъ и смѣха!
Жрецы минутнаго, поклонники успѣха!
Какъ часто мимо васъ проходитъ человѣкъ,
Надъ кѣмъ ругается слѣпой и буйный вѣкъ,
Но чей высокій ликъ въ грядущемъ поколѣнн
Поэта приведетъ въ восторгъ и умиленье!

Сюда же относится культъ Наполеона — столь разительно отличный отъ демократически - народническаго развѣнчиванія Наполеона у Льва Толстого — и культъ Патра Великаго. А. О. Смирнова приводитъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ слова Пушкина (достоверность которыхъ совершенно очевидна по *внутреннимъ* основаніямъ, какъ бы недостоверны ни были многія свидѣтельства этихъ сомнительныхъ мемуаровъ): „Разумная воля единицъ или меньшинства управляла человѣчествомъ... Въ сущности, неравенство есть законъ природы... Единицы совершали всѣ великія дѣла въ исторіи“ (цитирую по статьѣ Мережковского о Пушкинѣ, „Вѣчные Спутники“ 1897, с. 503). Отсюда ненависть Пушкина къ демократіи въ смыслѣ господства „народа“ или „массы“ въ государственной жизни. Въ примѣненіи къ Франціи онъ говоритъ о „народѣ“ (der Herr Omnis), который „властвуетъ“ „отвратительной властью демокраціи“ (Объ исторіи поэзіи Шевырева 1835). Такъ же объ Америкѣ (съ ссылкой на „славную книгу Токевиля“ „De la démocratie en Amérique“): „Съ изумленіемъ увидѣлъ демократію въ ея отвратительномъ цинизмѣ, въ ея жестокихъ предразсудкахъ, въ ея нестерпимомъ тиранствѣ. Все благородное, безкорыстное, все возвышающее душу человѣческую, подавленное неумолимымъ эгоизмомъ и страстью къ довольству; большинство, нагло притѣсняющее общество...“ и пр. (Джонъ Теннеръ, 1836).

Вторымъ мотивомъ пушкинскаго консерватизма является, какъ указано, *пѣтеть* къ историческому прошлому, сознание укорененности всякаго творческаго и прочнаго культурнаго развитія въ традиціяхъ прошлаго. На любви „къ родному пепелищу“ и „къ отеческимъ гробамъ“ „основано отъ вѣка самостоянье челоуѣка, залогъ величія его“ (стихотворный отрывокъ „Два чувства дивно близки намъ“). Изъ этого сознанія вытекаетъ

известное требованіе уваженія къ старинному родовому дворянству, какъ носителю культурно-историческаго преемства страны. Въ стихахъ, въ политическихъ размышленіяхъ, въ литературной критикѣ и наброскахъ повѣстей Пушкинъ постоянно возвращается къ этой темѣ. Презирая придворное дворянство временщиковъ, людей „прыгающихъ въ князья изъ хохловъ“, Пушкинъ настаиваетъ на цѣнности старыхъ дворянскихъ родовъ. Всего яснѣе эта мысль аргументирована въ „Отрывкахъ изъ романа въ письмахъ“ : „Я безъ прискорбія никогда не могъ видѣть уничиженія нашихъ историческихъ родовъ... Прошедшее для насъ не существуетъ. Жалкій народъ! Образованный французъ или англичанинъ доложитъ строкою лѣтописца, въ которой упоминается имя его предка...; но калмыки не имѣютъ ни дворянства, ни исторіи. Дикость, подлость и невѣжество не уважаютъ прошедшаго, пресмыкаясь передъ однимъ настоящимъ. И у насъ иной потомокъ Рюрика болѣе доложитъ звѣздой двоюроднаго дядюшки, чѣмъ исторіей своего дома, т. е. исторіей отечества. И это ставите вы ему въ достоинство. Конечно, есть достоинство выше знатности рода — именно достоинство личное... Имена Минина и Ломоносова вдвоемъ перевѣсятъ всѣ наши старинныя родословныя. Но неужто потомству ихъ смѣшно было бы гордиться ихъ именами?“ (ср. отрывокъ: „Гости съѣзжались на дачу“ : „неуваженіе къ предкамъ есть первый признакъ дикости и безнравственности“).

И, наконецъ, съ этимъ чувствомъ пiетета къ прошлому въ консерватизмѣ Пушкина сочетается забота о мирной непрерывности культурнаго и политическаго развитiя. Если уже въ 1826 г. онъ, какъ мы видѣли, говоритъ о своей нелюбви къ возмущенiямъ и революцiи, то позднѣе эта „нелюбовь“ превращается въ настоящую тревогу, въ положительную заботу о мирномъ теченiи политической жизни. Не только онъ съ ужасомъ думалъ о крестьянскихъ бунтахъ — „не приведи Богъ видѣть русской бунтъ, безсмысленный и безпощадный!“ (ср. также въ письмахъ и дневникѣ Пушкина отзывъ о возстанiи въ новгородскихъ военныхъ поселенiяхъ) — но онъ выражаетъ эту идею и въ общей положительной

формъ: „Лучшія и прочнѣйшія измѣненія суть тѣ, которыя происходятъ отъ одного улучшенія нравовъ, безъ насильственныхъ потрясеній политическихъ, страшныхъ для человѣчества“ („Мысли на дорогѣ“). А въ программѣ раамышлений „О дворянствѣ“ содержится запись (по французски): „Устойчивость — первое условіе общественнаго блага. Какъ согласовать ее съ безконечнымъ совершенствованіемъ?“

Съ этими элементами консервативнаго міросозерцанія у Пушкина органически сочетается, какъ указано, требованіе личной независимости и свободы культурнаго и духовнаго творчества — принципы, которые въ буквальномъ смыслѣ можно назвать „либеральными“. Принципъ духовной независимости личности, невмѣшательства государства въ сферу духовной культуры психологически ближайшимъ образомъ вырастаетъ у Пушкина изъ личнаго опыта гениальной творческой натуры, всю жизнь страдавшей отъ непризанной опеки государственной власти. Можно представить себѣ напр. душевное состояніе Пушкина, когда Николай I давалъ ему совѣтъ — почти равносильный приказу — передѣлать драму „Борисъ Годуновъ“ (которую Пушкинъ самъ ощущалъ, какъ образцово-удачное твореніе своего вдохновенія) въ историческій романъ въ стилѣ Вальтеръ-Скотта. Не сомнѣваясь, даже въ юности, въ правѣ цензуры оберегать государственный порядокъ и общественную нравственность отъ злоупотребленій печати, — въ позднѣйшіе годы, въ „Мысляхъ на дорогѣ“ онъ даже развиваетъ цѣлую аргументацію въ доказательство необходимости цензуры, — Пушкинъ постоянно, отъ юности до конца жизни, требуетъ яснаго разграниченія цензурнаго контроля отъ эстетической и моральной опеки. Особенно отчетливо это выражено въ письмѣ Гнѣдичу еще отъ 1822 г. изъ Кишинева. Иронически онъ говоритъ о цензурѣ: „поздравьте ее отъ моего имени — конечно, иные скажутъ, что эстетика не ея дѣло, что она должна воздавать Кесарю Кесарю, а Гнѣдичево — Гнѣдичу, но мало ли что говорить“ (I, 46-47; ср. оба стихотворныхъ „Посланія къ цензору“). Тотъ же принципъ — какъ бы дуализма принциповъ государственной власти и духовной независимости личности — проводится имъ и въ общей формѣ,

и притомъ и въ послѣдній, отчетливо консервативный, періодъ его жизни. Въ наиболѣе яркой формѣ это исповѣданіе выражено въ извѣстномъ стихотвореніи 1836 подъ обманчивымъ заголовкомъ „Изъ Пиндемонте“: „Не дорого цѣню я громкія права..“ Пушкинъ не требуетъ права на активное участіе въ политической жизни и не дорожить имъ; онъ требуетъ лишь духовной независимости личности, простора и нестѣсненности духовной жизни и творчества. Это требованіе, ближайшимъ образомъ относящееся къ сферѣ духовной жизни и эстетическаго творчества, разрастается у Пушкина въ общее принципиальное утвержденіе независимости личности въ частной жизни. По случаю упомянутой уже выше иллюстраціи его письма къ женѣ онъ не только въ своемъ дневникѣ записываетъ мысль о „глубокой безнравственности въ привычкахъ нашего правительства“ (ср. выше) и повторяетъ слова Ломоносова: „я могу быть подданнымъ, даже рабомъ, но холопомъ и шуткомъ не буду и у Царя Небеснаго“ (Дневникъ 10 мая 1834), но одновременно въ письмѣ къ женѣ, съ явнымъ намекомъ, что это адресовано власти, могущей снова распечатать письмо, высказываетъ общее политическое сужденіе: „Безъ политической свободы жить очень можно; безъ семейственной неприкосновенности (inviolabilité de famille) невозможно. Котора не въ примѣръ лучше“ (III, 122). Эта идея обоснована у Пушкина религіозно: она стоитъ въ связи съ культомъ домашняго очага, „пенатовъ“, „божествъ домашнихъ“, какъ хранителей единенія и независимости духовной жизни. Это религіозное ощущеніе проходитъ черезъ все поэтическое творчество Пушкина и находитъ свое завершающее выраженіе въ „гимнѣ и пенатамъ“ („Еще одной высокой важной пѣсни...“): „пенаты“ учатъ человѣка „наукъ первой: чтить самого себя“. Въ другомъ стихотвореніи („Два чувства дивно близки намъ“) Пушкинъ прославляетъ, какъ „животворящую святыню“, „самостоянье человѣка, залогъ величія его“¹⁾

Изъ этого принципа уваженія къ духовной жизни человѣка и къ неприкосновенности и святости домашняго очага вырастаетъ и общее требованіе прочнаго

¹⁾ Ср. нашу статью „Религіозность Пушкина“, „Путь“ 1933, XI.

правопорядка. Въ „Мысляхъ на дорогѣ“, именно въ связи съ обоснованіемъ правомѣрности цензуры, подчеркивается необходимость, чтобы „установъ“, которымъ руководится цензура, былъ „священъ и непреложенъ“ и это указаніе подкрѣпляется общимъ соображеніемъ: „Несостоятельность закона столь же вредитъ правительству (власти), какъ и несостоятельность денежнаго обязательства“ (Собр. сочин. изд. „Слово“, VI, 245). Въ оцѣнкѣ дѣятельности Петра Великаго Пушкинъ записываетъ: „Достойна удивленія разность между государственными учрежденіями Петра Великаго и временными его Указами. Первые суть плоды ума обширнаго, исполненнаго доброжелательства и мудрости, вторые нерѣдко жестоки, свое нравны и, кажется, писаны кнутомъ. Первые были для вѣчности, или по крайней мѣрѣ для будущаго — вторые вырвались у нетерпѣливаго самовластнаго помѣщика“ (Соч. изд. „Слово“ V, 443; особая отмѣтка Пушкина указываетъ, что эта мысль должна была проникать задуманную, оставшуюся ненаписанной „Исторію Петра Великаго“).

Консерватизмъ Пушкина органически связанъ съ этимъ его либерализмомъ черезъ идею, что свобода духовной жизни и культуры обеспечивается именно блюденіемъ культурной *преимущественности* и общественныхъ слоевъ, которые являются ея носителями. Требованіе уваженія къ родовому дворянству имѣетъ въ этой связи не только консервативный, но и либеральный смыслъ. Наслѣдственное дворянство есть по мысли Пушкина твердыня, ограждающая начала духовной независимости въ государственно-общественной жизни. Въ письмахъ и прозаическихъ работахъ и наброскахъ Пушкинъ не устаётъ повторять, что духовная цѣнность русской литературы основана на томъ, что русскіе писатели суть дворяне — носители чувства независимости и чести. Въ программѣ размышленій о дворянствѣ говорится: „Чему учится дворянство? Независимости, храбрости, благородству, *чести* вообще... Нужны ли они (эти качества) въ народѣ, такъ же, на примѣръ, какъ трудолюбіе? Нужны, и дворянство — la sauvegarde трудолюбиваго класса, которому некогда развивать эти качества... Наслѣдственность дворянства есть гарантія его независимости. Про-

тивоположное есть необходимое средство тиранніи, или, точнѣе, безчестнаго и развращающаго деспотизма“ (соч. изд. „Слово“, VI, 195 - 197). Для этого воззрѣнія Пушкина на значеніе дворянства весьма характерно, что цѣнность дворянства всегда рассматривается имъ съ точки зрѣнія общегосударственнаго и культурнаго интереса, и что онъ рѣзко отвергаетъ всѣ эгоистическія сословныя притязанія дворянства. Если еще въ юношескихъ „Историческихъ замѣчаніяхъ“ (ср. выше) онъ порицаетъ указы Петра III о вольности дорянства — „указы, коими предки наши столько гордились и коихъ справедливыѣ должны были стыдиться“, то и въ размышленіяхъ „О дворянствѣ“, при полной перемены своей общей политической позиціи, онъ снова повторяетъ эту мысль. „Аристократіей *правъ*“ и „рабствомъ народа“ „*кончается* (погибаетъ) дворянство“ (ib. 195).

III

Этими общими принципами конкретно опредѣляетъ ся отношеніе Пушкина къ политической реальности Россіи его эпохи, и именно въ этой конкретной установкѣ обнаруживается въ особенности полная оригинальность и геніальность политической мысли Пушкина,

Прежде всего Пушкинъ въ отношеніи русской политической жизни — убѣжденный *монархистъ*, какъ уже было указано выше. Эготъ монархизмъ Пушкина не есть просто преклоненіе передъ незыблемымъ въ тогданнюю эпоху фактомъ, передъ несокрушимой въ то время мощью монархическаго начала (не говоря уже о томъ, что благородство, независимость и абсолютная правдивость Пушкина совершенно исключаютъ подозрѣніе о какихъ либо лично - корыстныхъ мотивахъ этого взгляда у Пушкина). Монархизмъ Пушкина есть глубокос внутреннее убѣжденіе, основанное на историческомъ и политическомъ сознаніи необходимости и полезности монархіи въ Россіи — свидѣтельство необычайной объективности поэта, сперва гонимаго царскимъ правитель-

ствомъ, а потомъ всегда раздражаемаго мелочной подозрительностью и враждебностью. „Со времени восшествия на престолъ дома Романовыхъ — говоритъ Пушкинъ въ „Мысляхъ на дорогѣ“ — правительство у насъ всегда впереди на поприщѣ образования и просвѣщенія. Народъ слѣдуетъ за нимъ всегда лѣнливо, а иногда и неохотно“ (Соч. VI, 209). То же возрѣніе высказано въ геніальномъ, упомянутомъ уже выше, письмѣ къ Чаадаеву отъ октября 1836 г. Въ концѣ своей критики исторической концепціи Чаадаева Пушкинъ отмѣчаетъ, въ чемъ онъ согласенъ съ Чаадаевымъ въ его оцѣнкѣ тогдашняго состоянія русской культуры — именно, „что наше нынѣшнее общество столь же презрѣнно, какъ и глупо“, что въ немъ „отсутствуетъ общественное мнѣніе и господствуетъ равнодушіе къ долгу, справедливости, праву, истинѣ... циническое презрѣніе къ мысли и достоинству человека“. Вслѣдъ за этими словами идетъ замѣчательная оговорка, которой оканчивается письмо: „Слѣдовало бы добавить (не въ качествѣ уступки, а ради истины), что правительство есть единственный европейскій элементъ Россіи и что — какъ бы грубо (brutal) оно ни было — отъ него одного зависило бы быть еще сто разъ грубѣе. Ни на кого это не произвело бы ни малѣйшаго впечатлѣнія“ (III, 389).

Можно сказать, что этотъ взглядъ Пушкина на прогрессивную роль монархіи въ Россіи есть нѣкоторый уникумъ въ исторіи русской политической мысли XIX вѣка. Онъ не имѣетъ ничего общаго ни съ официальнымъ монархизмомъ самихъ правительственныхъ круговъ, ни съ романтическимъ, апіорно-философскимъ монархизмомъ славянофиловъ, ни съ монархизмомъ реакціоннаго типа. Вѣра Пушкина въ монархію основана на историческомъ размышленіи и государственной мудрости и связана съ любовью къ свободѣ и культурѣ.

Еще болѣе замѣчательна, однако, критика русской монархіи, которую мы одновременно встрѣчаемъ въ зрѣломъ консервативномъ міросозерцаніи Пушкина. Парадоксальнымъ образомъ Пушкинъ упрекаетъ русскую монархическую власть — въ революціонности. При всемъ своемъ благоговѣніи къ Петру, онъ называетъ его „одновременно Робеспьеромъ и Наполеономъ — воплощен-

ной революціей“ („О дворянствѣ“). Въ замѣчательномъ разговорѣ съ вел. кн. Михаиломъ Павловичемъ (въ спорѣ съ нимъ о цѣнности наслѣдственного дворянства по поводу указа о почетномъ гражданствѣ, послѣдствіемъ котораго должно было быть затрудненіе доступа въ дворянство по службѣ; великій князь былъ противъ этой мѣры) Пушкинъ не стѣсняется сказать ему: „Вы пошли въ вашу семью, всѣ Романовы — революціонеры и уравнители“ (на что явно непріятно задѣтый великій князь отвѣтилъ иронической благодарностью за то, что онъ „пожалованъ“ Пушкинымъ въ якобинцы). Въ шуточной формѣ Пушкинъ высказалъ серьезную и завѣтную свою мысль, стоящую въ связи съ его вышеизложеннымъ взглядомъ на общественное значеніе дворянства, какъ носителя и культурной непрерывности и свободного общественного мнѣнія и культурнаго творчества. Поэтому онъ рѣзко высказывается противъ пестровой „табели о рангахъ“, въ силу которой лица изъ низшихъ слоевъ въ порядкѣ службы проникали въ дворянство. „Вотъ уже 150 лѣтъ, какъ табель о рангахъ выметаетъ дворянство, и нынѣшній Государь первый установилъ плотину, еще очень слабую (Пушкинъ имѣетъ въ виду упомянутый указъ о почетномъ гражданствѣ) противъ наводненія демократіи, худшей, чѣмъ въ Америкѣ“ („О дворянствѣ“). „Наслѣдственные преимущества высшихъ классовъ общества суть условія ихъ независимости. Въ противномъ случаѣ классы эти становятся наемниками“ (ib.). Если въ юношескихъ „Историческихъ замѣчаніяхъ“ Пушкинъ, какъ мы видѣли, сочувствовалъ побѣдѣ въ Россіи самодержавія надъ попытками установленія „феодализма“, надъ честолюбивыми замыслами боярства и дворянства, то теперь онъ стоитъ на прямо противоположной точкѣ зрѣнія. Въ критическихъ замѣткахъ на „Исторію Русскаго Народа“ Пелескихъ указывая на основное отличіе русской исторіи отъ исторіи Запада — отсутствіе у насъ феодализма, онъ прибавляетъ: „Феодализма у насъ не было — и тѣмъ хуже“; онъ сожалеетъ также объ отсутствіи въ Россіи свободныхъ городскихъ общинъ. „Феодализмъ не могъ бы... развиваться, какъ первый шагъ учрежденій независимости (общины были второй), но онъ не успѣлъ. Онъ

разсѣлся во времена татаръ, былъ подавленъ Иваномъ III, гонимъ, истребляемъ Иваномъ IV. — Мѣсто феодализма заступила *аристократія* и могущество ея въ междоусобицѣ возросло до высочайшей степени. Она была наследственной, — отсель мѣстничество, на которое до сихъ поръ привыкли смотрѣть самымъ дѣтскимъ образомъ. ... *Съ Θεодора и Петра начинается революція въ Россіи, которая продолжается и до сего дня*“.

Недостатокъ мѣста не позволяетъ намъ подкрѣпить эти сужденія Пушкина еще другими цитатами, которыхъ можно было бы привести множество. Но и указанного достаточно, чтобы политическая мысль Пушкина уяснилась намъ во всей ея оригинальности и яркости. Монархія есть для него единственный подлинно европейскій слой русскаго общества, которому Россія обязана — начиная съ XVII-го вѣка — всѣмъ своимъ культурнымъ прогрессомъ. Но монархія легко поддается искушенію — и именно въ Россіи, при некультурности широкихъ массъ общества, искушеніе это особенно велико — недооцѣнить культурное значеніе независимыхъ высшихъ классовъ и въ интересахъ абсолютизма пытаться ихъ ослабить и связаться съ низшими слоями населенія. Этимъ открывался бы путь къ уравнительному, губительному для культуры и свободы деспотизму, и, по мнѣнію Пушкина, монархія по меньшей мѣрѣ со времени Петра вступила на этотъ гибельный путь. Пушкинъ защищаетъ точку зрѣнія истиннаго консерватизма, основаннаго на преимуществахъ культуры и духовной независимости личности и общества, противъ опасности цезаристско-демократическаго деспотизма. Если онъ ближайшимъ образомъ подчеркиваетъ цѣнность стариннаго дворянства и какъ бы защищаетъ его интересы какъ противъ уравнительныхъ тенденцій, такъ и противъ богатой и вліятельной придворной знати изъ высочайшихъ и вельможъ XVIII вѣка, то только потому, что въ его эпоху — какъ онъ это неоднократно подчеркиваетъ — этотъ средній нечиновный старинный дворянскій классъ былъ главнымъ или даже основнымъ носителемъ независимой культуры. Общее понятіе „дворянства“ у него шире. Къ дворянству „въ республикѣ“ онъ причисляетъ и классъ

буржуазіи — „богатыхъ людей, которыми народъ кормится“ („О дворянствѣ“, ср. приведенное выше указаніе на культурное и политическое значеніе городскихъ общинъ). Общимъ и основнымъ мотивомъ его консерватизма является борьба съ уравнительнымъ демократическимъ радикализмомъ, съ „якобинствомъ“. Съ поразительной пронизательностью и независимостью сужденія онъ усматриваетъ, — вопреки всѣмъ партійнымъ шабонамъ и ходячимъ политическимъ воззрѣніямъ, — средство демократическаго радикализма съ цезаристскимъ абсолютизмомъ. Если въ политической мысли XIX вѣка (и, въ общемъ, вплоть до нашего времени) господствовали два комплекса признаковъ: „монархія — сословное государство — деспотизмъ“ и „демократія — равенство — свобода“, которые противостояли (и противостоятъ) другъ другу, какъ „правое“ и „лѣвое“ мітивостоятъ) другъ другу, какъ „правое“ и „лѣвое“ мітивостоятъ, то Пушкинъ отвергаетъ эту господствующую схему — по крайней мѣрѣ, въ отношеніи Россіи — и замѣняетъ ее совсѣмъ иной группировкой признаковъ. „Монархія — сословное государство — свобода — консерватизмъ“ выступаютъ у него, какъ единство, стоящее въ рѣзкой противоположности къ комплексу „демократія — радикализмъ (якобинство)“ — цезаристскій деспотизмъ. Гдѣ нѣтъ независимыхъ сословій, тамъ господствуетъ равенство и развращающій деспотизмъ. Деспотизмъ Пушкинъ опредѣляетъ такъ: „жестокіе законы — извѣженные нравы“ („О дворянствѣ“).

Пушкинъ, конечно, ошибся въ своемъ историческомъ прогнозѣ въ одномъ отношеніи. Русская монархія не вступила въ союзъ съ низшими классами противъ высшихъ, образованныхъ классовъ (освобожденіе крестьянъ, о которомъ въ теченіе всей своей жизни страстно мечталъ самъ Пушкинъ, конечно, сюда не относится); напротивъ, гибель монархіи по крайней мѣрѣ отчасти была обусловлена тѣмъ, что она слишкомъ тѣсно связала свою судьбу — особенно въ 80-хъ и 90-хъ годахъ — съ судьбой естественно угасающаго дворянскаго класса, чѣмъ подорвала свою популярность въ крестьянскихъ массахъ. Но въ основѣ своей воззрѣнія Пушкина имѣетъ прямо пророческое значеніе. Каковы бы ни были личныя политическія идеи каждаго изъ

насъ, простая историческая объективность требует признания, что понижение уровня русской культуры шло рука объ руку съ тѣмъ „демократическимъ наводненіемъ“, которое усматривалъ Пушкинъ и которое стало для всѣхъ явнымъ фактомъ начиная съ шестидесятыхъ годовъ — съ момента проникновенія въ общественно-государственную жизнь „разночинца“ — представителей полуобразованныхъ и необразованныхъ классовъ. Историческимъ фактомъ остается также утверждаемая Пушкинымъ солидарность судьбы монархіи и образованныхъ классовъ и зависимость свободы отъ этихъ двухъ политическихъ факторовъ. Съ крушеніемъ русской монархіи русскій образованный классъ, а съ нимъ и свобода, были поглощены внезапно хлынувшимъ потокомъ „демократическаго якобинства“, того стихійно-народнаго, „пугачевского“ „большевизма“, который — по крайней мѣрѣ въ 1917-18 годахъ — составилъ какъ бы социальный субстратъ большевицкой революціи и вознесъ къ власти коммунизмъ, окончательно уничтожившій въ Россіи свободу и культуру.

Какъ бы то ни было, эта краткая и неполная сводка политическихъ идей Пушкина, надѣмся, достаточно, чтобы усмотрѣть, насколько значителенъ и оригиналенъ былъ Пушкинъ и въ качествѣ *политическаго мыслителя*.

С. ФРАНКЪ

Кн. ВЯЗЕМСКІЙ и А. Д. ГРАДОВСКІЙ О ЛИБЕРАЛЬНОМЪ КОНСЕРВАТИЗМѢ

Когда пишущій эти строки выдвинулъ (въ „Возрожденіи“) для обозначенія своего политическаго умонастроения словосочетаніе „либеральный консерватизмъ“, то оно встрѣтило странное непониманіе и еще болѣе странныя возраженія: нѣкоторые надъ этимъ словосочетаніемъ смѣялись, другимъ оно просто не нравилось, третьи находили, что это обозначеніе надумано и не нужно. А между тѣмъ и слова, и словосочетанія имѣютъ такъ же, какъ идеи и построенія, свою *исторію* и *традицію*.

Русскій либеральный консерватизмъ можетъ похвалиться и идейной, и словесной традиціей. Въ „Записной Книжкѣ“ друга Пушкина и блистательнаго мастера русскаго языка, кн. Петра Андреевича Вяземскаго, напечатанной въ его собраніи сочиненій, кромѣ замѣчательной характеристики Пушкина какъ либеральнаго консерватора, есть чрезвычайно интересныя признанія и размышленія на эту тему. Какъ всегда у Вяземскаго, они иногда отдають наивностью, почти простодушіемъ, но зато подчасъ прямо таки поражаютъ мѣткостью и остротой. Приведемъ здѣсь запись кн. П. А. Вяземскаго, въ которой онъ исповѣдуетъ свой либеральный консерватизмъ и которая озаглавлена: „Кое-что о себѣ и о другихъ, о нынѣшнемъ и вчерашнемъ“.

„Нѣкоторые изъ нашихъ прогрессистовъ — надобно же называть ихъ, какъ они сами себя величаютъ — не могутъ понять, что можно любить *прогрессъ*, а ихъ не любить; не только не любить, но признавать обязанностью даже ратовать противъ нихъ, именно во имя той мысли и изъ любви къ той мысли, ко-

торую они исказили и опошили. Можно любить живопись, но именно потому, что любишь и уважаешь ее, смѣшешь надъ *Ефремами, малярами Россійскихъ странъ*, которые мазилкою своею пишутъ Кузьму Лукою. Эти господа думаютъ, что они компаніей своею сняли на откупъ либерализмъ и прогрессъ, и готовы звать къ мировому на судъ каждого, кто не въ ихъ ла-вочкѣ запасается сигарами или прогрессомъ и либерализмомъ. Они и знать не хотятъ, что есть на свѣтѣ гаванскія сигары, и что, привыкнувъ къ нимъ, нельзя безъ оскомины, безъ тошноты, курить ихъ домашнія, фальшивыя сигары, которыя только на видъ смотреть табакомъ, а внутри не что иное, какъ труха. Скажу, на примѣръ, о себѣ: я могъ быть журналистомъ и былъ имъ отчасти; но изъ того не слѣдуетъ, что я долженъ быть запанибрата со всѣми журналистами и отстаивать всѣ ихъ мнѣнія и раздѣлять съ ними направление, которому я не сочувствую. Доказательствомъ тому приведу, что я добровольно вышелъ изъ редакціи „Телеграфа“, когда пошелъ онъ по дорогѣ, по которой я не хотѣлъ идти. Тогда былъ я въ отставкѣ и въ положеніи совершенно независимомъ; слѣдовательно поступилъ я такъ не въ виду какихъ-нибудь обязательныхъ условій и приличій, а просто потому, что ни сочувствія мои, ни литературная совѣсть моя не могли мирволить тому, что было имъ по вкусу. Карамзинъ былъ совершенно въ правѣ написать обо мнѣ, что я *пылалъ свободомысліемъ*, то есть либерализмомъ въ значеніи Карамзина. Не отрекаюсь отъ того и даже не раскаиваюсь въ этомъ. Но либерализмъ либерализму рознь, какъ и сигара сигарѣ рознь. Я и нѣкоторые сверстники мои въ то время, мы были либералами той политической школы, которая возникла во Франціи съ паденіемъ Наполеона и водвореніемъ конституціоннаго правленія при возвращеніи Бурбоновъ... Не мы, либералы, измѣнились и измѣнили, а измѣнился и измѣнилъ либерализмъ. По французской поговоркѣ скажешь: „*on nous l'a changé en poutrice*“. И дѣтя не то, и кормилицы не тѣ. И не то молоко, которымъ мы питались и къ которому привыкли. Перенесемъ вопросъ на русскую почву. Многие изъ насъ, на примѣръ, могли не раздѣлять вполне всѣхъ политическихъ и государственныхъ мыслей Николая Тургенева; но могли имѣть съ нимъ нѣкоторыя точки сочувствія и прикосновенія, слѣдовательно, разрыва не было. Были вопросы, въ которыхъ умы сходились и дѣйствовали дружно. Возьмемъ даже Рылѣева, который былъ на самой окраинѣ тѣхъ мыслей, которыхъ держался Тургеневъ. Еще шагъ и Рылѣевъ былъ уже за чертою и, по несчастью, онъ совершилъ этотъ шагъ. Но все же не былъ онъ Нечаевъ, и быть имъ не могъ... Охотно вѣрю, что въ шаткости понятій, въ разгромѣ правилъ, вѣрованій, началъ, есть гораздо болѣе *легкоумія, слабоумія*, нежели *злоумія*, но все же не могу признать либерализмомъ то, что не есть либерализмъ. Какъ ни будь я охотникъ курить сигару, все же не могу я признавать сигарою вонючій свитокъ, которымъ подбиваетъ меня угорѣлый и утратившій чутые и обоняніе курильщикъ. Еще нѣсколько словъ. Инымъ колятъ глаза ихъ минувшимъ. На примѣръ, упрекаютъ ихъ тѣмъ, что говорятъ

они нынѣ не то, что говорили прежде. Однимъ словомъ, не говоря обиняками, обличаютъ человека, что онъ прежде былъ либераломъ, а теперь онъ консерваторъ, ретроградъ и проч. проч. Во-первыхъ, всѣ эти клички, всѣ эти литографированные ярлыки ничего не значатъ. Это — слова, цифры, которыя получаютъ значеніе въ примѣненіи. *Можно быть либераломъ и вмѣстѣ съ тѣмъ консерваторомъ* (подчеркнуто мною. П. С.), — быть радикаломъ, и не быть либераломъ, быть либераломъ и ничѣмъ не быть. Попугай, который затвердитъ слова: свобода, равенство, правъ и тому подобныя, все же останется птицей немыслящей, хотя и выкрикиваетъ слова изъ либеральнаго словаря“¹⁾.

Любопытно съ этими сужденіями кн. П. А. Вяземскаго сопоставить и его оцѣнку Н. М. Карамзина...

„Карамзинъ въ языкѣ и литературѣ нашей былъ новаторъ (это слово почти русское и всѣмъ понятно: отъ слова *ново*), въ историческомъ и государственномъ отношеніи онъ былъ консерваторомъ, но изъ тѣхъ, которые глядятъ впередъ, а не изъ тѣхъ, у которыхъ глаза на затылкѣ. Онъ не думалъ, что Россія дѣло уже законченное: въ будущемъ ея ожидалъ онъ новыя, духовныя силы на пути преуспѣянія и просвѣтительныхъ и гражданскихъ усовершенствованій. Но онъ опасался, онъ не хотѣлъ, чтобы это будущее было насильственно и преждевременно перетянуто на берегъ настоящаго. Какъ историкъ, онъ вѣрилъ въ Провидѣніе и въ дѣятельное содѣйствіе времени. Совершенно ли были правы и вѣдѣны его убѣжденія и заключенія, — это другой вопросъ. Но одна безсовѣстность, или одно тупое непониманіе могутъ видѣть въ немъ крѣпостника, отсталого и проч. Шишковъ былъ не столько консерваторъ, сколько старовѣръ. Онъ мыслилъ и писалъ двуперстно...“²⁾

Кн. П. А. Вяземскій, родившись въ 1792 г., на семь лѣтъ былъ старше своего друга Пушкина и принадлежалъ къ поколѣніямъ, изъ которыхъ лишь единицы дожили до конца XIX вѣка.

Но тотъ же вопросъ, который кн. Вяземскій старцемъ ставилъ въ своей „Записной Книжкѣ“, въ *расцвѣтѣ* своихъ силъ сдѣлалъ предметомъ гласнаго обсуждения знаменитый русскій государствовѣдъ А. Д. Градовскій въ превосходной статьѣ, озаглавленной „Что такое консерватизмъ?“ и напечатанной въ журналѣ „Русская Рѣчь“ за 1880 г. (февраль; эта статья перепечатана въ сборникѣ статей Градовскаго „Трудные Годы“ и въ со-

¹⁾ Кн. П. А. Вяземскій. Полное Собраніе Сочиненій. т. X. СПб. 1886. „Старая Записная Книжка“, стр. 291—293.
²⁾ Тамъ же, стр. 288.

брании его сочинений). Это была эпоха, когда, казалось, въ двери русскаго государства стучалась коренная государственная реформа, съ такимъ роковымъ запозданиемъ осуществленная въ 1905-1906 гг.

„Вопросъ, поставленный въ началѣ этой статьи, — такъ открываетъ свои разсужденія А. Д. Градовскій — имѣетъ большое значеніе не только для теоріи, но и для практики и для послѣдней, можетъ быть, больше, чѣмъ для первой. Словами — консерваторъ, консерватизмъ опредѣляется не столько складъ теоретическихъ понятій общественнаго дѣятеля, не столько складъ его ума, сколько направленіе его воли. Эпитетъ „консервативный“ совершенно не идетъ къ философіи, къ поэзіи, къ наукамъ... Отношеніе къ общественнымъ вопросамъ нисколько не опредѣляетъ существа *философской* системы, какъ таковой. На почвѣ идеализма могутъ одинаково развиваться направленія, въ общественномъ отношеніи и консервативныя и прогрессивныя... Если центръ тяжести консерватизма, либерализма, направленія либеральнаго абсолютизма и т. д. опредѣляется характеромъ *отношеній* каждаго изъ этихъ направленій къ явленіямъ общественной жизни, то спрашивается: чѣмъ характеризуются эти отношенія, чѣмъ опредѣляется ихъ существо?

„Вопросъ этотъ очень любопытенъ въ наше время, и особенно въ Россіи, гдѣ значеніе всѣхъ этихъ иностранныхъ словъ мало выяснилось и гдѣ они прилагаются вкривь и вкосъ. Напримѣръ, у насъ очень принято противопоставлять терминъ *консервативный* и *либеральный*, не подозревая, что противоположеніе этихъ понятій представляетъ порядочный абсурдъ. Либерализмъ есть извѣстная теорія *устройства* государства, формъ и предѣловъ его дѣятельности. Либерализмъ, въ отношеніи государственнаго устройства, исходитъ изъ требованія обезпеченія извѣстныхъ правъ личности (личная свобода, неприкосновенность имущества, свобода печати, вѣроисповѣданій и т. д.) отъ государственнаго всемогущества; въ отношеніи *формъ* и *предѣловъ* его дѣятельности, оно исходитъ изъ предположенія, что личная предприимчивость и самостоятельность есть нормальный источникъ всякаго прогресса и что поэтому дѣятельность государства должна ограничиваться охраненіемъ свободно проявляющихся личныхъ силъ и восполненіемъ этихъ личныхъ усилій тамъ, гдѣ они оказываются недостаточными. Въ этомъ смыслѣ либерализмъ противопоставляется *абсолютизму* и *гувернаментализму* (правительственной опеки)“

„Если либерализмъ противопоставляется абсолютизму и системѣ государственной опеки, то *консерватизмъ* обыкновенно противопоставляется направленію прогрессивному. Какъ ни странно покажется это на первый взглядъ, но послѣднія два направленія (консервативное и прогрессивное) не только не могутъ быть *противоположены* первымъ двумъ, но даже могутъ быть съ ними *соединены*. Либераль можетъ быть консерваторомъ; сторонникъ государственной опеки можетъ быть прогрессистомъ. Напримѣръ,

Боденъ въ XVI-мъ вѣкѣ былъ прогрессистъ, сравнительно съ защитниками средневѣковыхъ „вольностей“, хотя онъ и выступилъ защитникомъ абсолютной монархіи, въ которой онъ видѣлъ единственное средство умиротворенія Франціи и основанія новаго порядка“ (стр. 199-202).

Въ интересныхъ разсужденіяхъ этой статьи Градовскаго многое сейчасъ требовало бы по существу поясненій и критики. Но меня интересуетъ въ данномъ случаѣ только то, что Градовскій рѣшительно называетъ противоположеніе консерватизма и либерализма нелѣпостью и что самъ онъ, основатель научнаго изученія и истолкованія государственнаго права доконституціонной Россіи, былъ либеральнымъ консерваторомъ. И если мы припомнимъ, что въ лучшую эпоху своей жизни такими были и Пушкинъ, и знаменитый врачъ, и государственный дѣятель Пироговъ и что первымъ русскимъ представителемъ этого умоначертанія былъ прославленный Пушкинымъ адмиралъ Мордвиновъ, то вотъ хронологическій списокъ самыхъ замѣчательныхъ русскихъ либеральныхъ консерваторовъ:

Н. С. Мордвиновъ	(1754 - 1845)
Кн. П. А. Вяземскій	(1792 - 1878)
А. С. Пушкинъ	(1799 - 1837)
Н. И. Пироговъ	(1810 - 1881)
А. Д. Градовскій	(1841 - 1889)

Приложеніе II

КН. П. А. ВЯЗЕМСКІЙ О ПОЛИТИЧЕСКОМЪ МІРОВОЗРѢНІИ ПУШКИНА

Кн. Петръ Андреевичъ Вяземскій, подготавливая наклонъ лѣтъ къ печати „Полное Собраніе“ своихъ сочиненій¹⁾, сопровождалъ извѣстную критическую статью

¹⁾ Первый томъ этого собранія, въ которомъ помѣщена статья о „Цыганахъ“ (стр. 313-320), появился въ 1878 г. (въ годъ смерти Вяземскаго) и обнимаетъ произведенія 1810-1827 гг. Приписка Вяземскаго къ статьѣ о „Цыганахъ“ помѣчена 1875 г. (тамъ же, стр. 321-325).

1827 г. о „Цыганахъ“ Пушкина припиской, въ которой далъ, во-истину, классическую характеристику государственнаго міровоззрѣнія и политической позиціи Пушкина.

Вотъ эта характеристика, всецѣло подтверждающая то пониманіе Пушкина, какъ политическаго мыслителя, которое развивается С. Л. Франкомъ и пишущимъ эти строки:

„Натура Пушкина была болѣе открыта къ сочувствіямъ, нежели къ отвращеніямъ. Въ немъ было болѣе любви, нежели негодованія; болѣе благоразумной терпимости и здоровой оцѣнки дѣйствительности и необходимости, нежели своевольнаго враждебнаго увлеченія. На политическомъ поприщѣ, если оно открылось бы предъ нимъ, онъ безъ сомнѣнія былъ бы либеральнымъ консерваторомъ, а не разрушающимъ либераломъ. Такъ называемая либеральная, молодая пора поэзіи его не можетъ служить опроверженіемъ словъ моихъ. Во-первыхъ, эта пора сливается съ порою либерализма, который, какъ повѣтріе, охватилъ многихъ изъ тогдашней молодежи. Нервное, впечатлительное созданіе, какимъ обыкновенно рождается поэтъ, еще болѣе, еще скорѣе, чѣмъ другіе, бываетъ подвержено дѣйствию повѣтрія. Многие изъ тогдашнихъ такъ-называемыхъ либеральныхъ стиховъ его были болѣе отголоскомъ того времени, нежели отголоскомъ, исповѣдью внутреннихъ чувствъ и убѣжденій его. Онъ часто былъ Эолова арфа либерализма на пиршествахъ молодежи, и отзывался тѣми вѣяніями, тѣми голосами, которые налетали на него. Не менѣе того, онъ былъ искрененъ, но не былъ сектаторомъ въ убѣжденіяхъ или предубѣжденіяхъ своихъ, а тѣмъ болѣе не былъ сектаторомъ чужихъ предубѣжденій. Онъ любилъ чистую свободу, какъ любить ее должно, какъ не можетъ не любить ее каждое молодое сердце, каждая благородная душа. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы каждый свободолубивый человѣкъ былъ непремѣнно и готовымъ революціонеромъ.“

Политическіе сектаторы двадцатыхъ годовъ (разумѣются тутъ Вяземскимъ декабристы П. С.) очень это чувствовали и примѣнили такое чувство и понятіе къ Пушкину. Многие изъ нихъ были пріятелями его, но они не находили въ немъ готоваго соумышленника и, къ счастью его самого и Россіи, они оставили его въ покоѣ, оставили въ сторонѣ. Этому соображенію и расчету ихъ можно скорѣе приписать спасеніе Пушкина отъ крушеній 25-го года, нежели желанію, какъ многие думаютъ, сберечь дарованіе его и будущую литературную славу Россіи. Рылѣевъ и Александръ Бестужевъ, вѣроятно, признавали себя такими же вкладчиками въ сокровищницу будущей русской литературы, какъ и Пушкина, но это не помѣшало имъ самонадѣянно поставить всю эту литературу на одну карту, на карту политическаго: быть или не быть“.

Надлежитъ замѣтить, что прилагательное „либеральный“, заимствованное всѣми европейскими языками изъ латинскаго, въ литературномъ словоупотребленіи этого послѣдняго всегда съ одной стороны имѣло смыслъ: „относящійся къ свободѣ“ (первое, юридическое значеніе); съ другой стороны — смыслъ „душевно благородный“ (второе, психологическое значеніе) и, наконецъ, смыслъ „широкій въ отношеніи тратъ“, „щедрый“ (третье, психологически-бытовое значеніе). Первое (юридическое) значеніе, самое буквальное, легло въ основу и того политическаго смысла, который это слово приобрѣло въ новыхъ языкахъ, въ томъ числѣ и въ русскомъ. Въ русскомъ политическомъ языкѣ начала XIX вѣка, въ языкѣ братьевъ Тургеневыхъ, Вяземскаго и Пушкина, слова „либеральный“, „либералисты“ (это слово встрѣчается чаще, чѣмъ вытѣснившее его впоследствии выраженіе „либералы“) и „либерализмъ“ имѣютъ буквальное значеніе, тѣсно связывающее его съ понятіемъ „свободы лица“.

Любопытно, что, какъ передаетъ кн. Вяземскій въ автобіографическомъ введеніи къ полному собранію своихъ сочиненій (тамъ же, стр XXXVI), Александръ I слово „либеральный“ самъ перевелъ на русскій языкъ выраженіемъ „законно - свободный“, желая, очевидно, этимъ выразить сочетаніе въ „либерализмѣ“ и „либеральныхъ учрежденіяхъ“ начала *свободы лица* съ началомъ *законности*, или *господства закона*. Это совершенно правильно: идея свободы лица и идея законности въ томъ смыслѣ неразрывно связаны, что безъ начала законности немыслима свобода лица.

ПЕТРЪ СТРУВЕ

СОДЕРЖАНІЕ

	Стр.
Предисловіе. П. Б. Струве	3
Пушкинъ, какъ политическій мыслитель. С. Л. Франка .	11
Приложенія:	
I — Кн. Вяземскій и А. Д. Градовскій о либераль- номъ консерватизмѣ	43
II — Кн. Вяземскій о политическомъ міровоззрѣніи Пушкина	47
